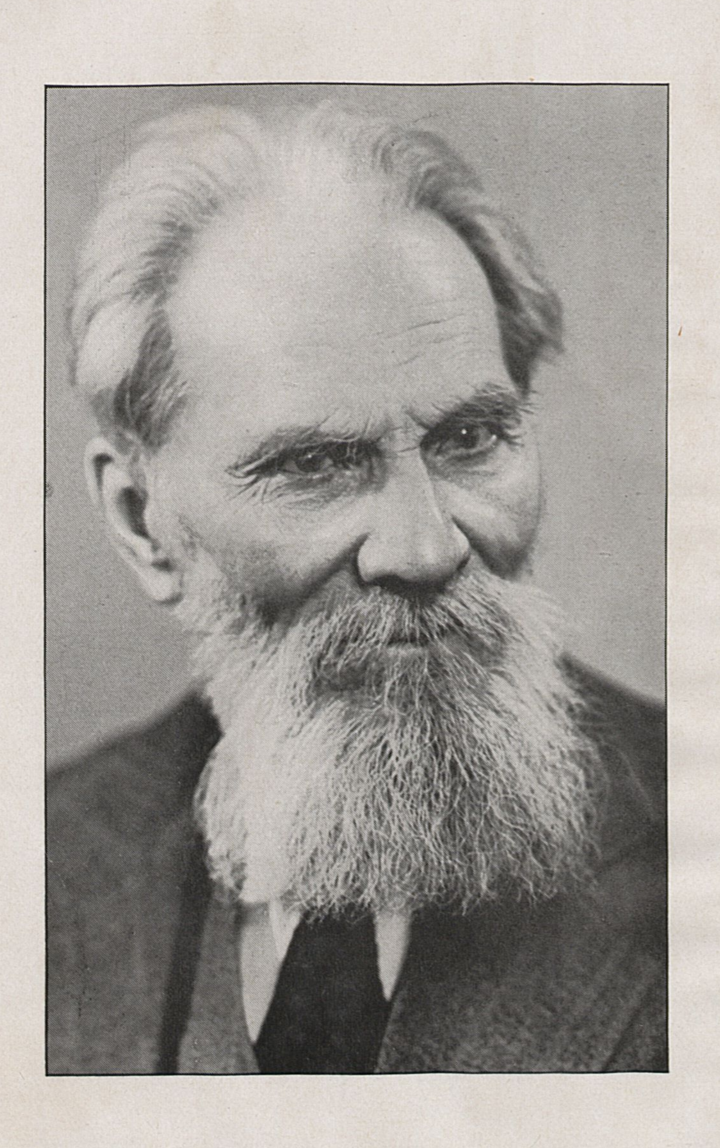
Е. Е. ЛАЗАРЕВ

МОЯ ЖИЗНЬ

ПРАГА 1935



Е. Е. ЛАЗАРЕВ

МОЯ ЖИЗНЬ

ВОСПОМИНАНИЯ —

СТАТЬИ — ПИСЬМА — МАТЕРИАЛЫ

I

ПРАГА
1935

Печатала типография
«ЛЕГИОГРАФИЯ»
Praha XIII., Sámova 665

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль отметить восьмидесятилетие со дня рождения Егора Егоровича Лазарева изданием сборника его воспоминаний и заметок появилась в феврале 1935 года, когда пражская организация партии социалистов-революционеров образовала особый комитет по устройству празднования юбилея своего славного сочлена. Окончательное решение было принято в конце апреля, при участии представителей чешской социал-демократической партии, партии чешских народных социалистов и общины легионеров.

Вначале редакция сборника намеревалась охватить в нем все этапы жизни юбиляра, но от этого плана пришлось отказаться, — прежде всего потому, что в тот короткий срок, которым редакция располагала, оказалось совершенно невозможным разобраться в громадном собрании материалов, освещающих жизненный путь Егора Егоровича. Выяснилось, кроме того, что указанные материалы далеко неравномерно регистрируют этапы столь яркой и насыщенной событиями жизни, оставляя в тени целые периоды ее.

Выпускаемый ныне сборник охватывает, в сущности, первые 30—35 лет жизни Егора Егоровича. Только первая статья сборника — «Страницы жизни» — дает краткую канву биографии юбиляра, сообщая по возможности все значительные даты ее, вплоть до приезда Егора Егоровича в Прагу, в 1919 году. Помещаемые вслед за этой статьей «Воспоминания детства» рисуют быт крепостной деревни и яркие переживания крепост-

ного мальчика при объявлении «воли» в его родной Грачевке; они впервые были напечатаны в 1912 году, в популярном журнале «Вестник Знания»; в сборнике воспоминания печатаются с незначительными исправлениями и поправками. Набросок «Под Карсом» — эпизод из военной службы Егора Егоровича в кавказской армии. Статья «Перед первой ссылкой» была напечатана в журнале «Воля России» (№ 6 (34) 1922 года и № 1 (13) 1923 года) под заглавием: «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом»: она сообщает интересные данные о приемах революционной работы Егора Егоровича в деревне и о встречах его с великим писателем. «Первая ссылка раньше была напечатана в той же «Воле России» за 1925 год (№№ 3, 4, 5) под заглавием: «Дела минувших дней». Дополнением этой статьи служит статья: «По этапу из Москвы в Восточную Сибирь», представляющая собою дневник, который Егор Егорович вел с 10 мая по 8 июля 1885 года, во время следования с партией ссыльных и каторжан. Дневник этот хранится, вместе с другими бумагами и письмами Егора Егоровича, в «Русском Заграничном Историческом Архиве» в Праге и опубликовывается впервые; места в дневнике, неразобранные редакцией, всюду отмечены тремя точками — . . .

Редакция отказалась, по недостатку времени, от составления необходимых примечаний и объяснений к тексту; она ограничилась лишь помещением в конце книги «Алфавитного указателя личных имен», который, как ей кажется, может оказать некоторую помощь при возможных справках.

Прага Чешская
30 мая 1935 года.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

(Канва к биографии)

I

Егор Егорович Лазарев родился 24-го апреля старого стиля 1855 года крепостным крестьянином помещика Карпова, в селе Грачевке, пустоваловской волости, бузулукского уезда самарской губернии.

Отец Егора Егоровича большую часть жизни провел на водяной мельнице своего помещика, на реке Самаре, и, начав с должности «засыпщика» и «гарочника», в течение десятков лет достиг звания опытного «мельника» и известного «чертопруда», т. е. знатока по прудке плотин.

После отмены крепостного права, в 1861 году, семья Лазарева переселяется с мельницы в село Грачевку, обзаводится своим домом и всем крестьянским хозяйством. В тревожное время, когда устраивался быт освобожденных крестьян, отец Егора Егоровича избирается старшиной пустоваловской волости и входит в сношения с разночинной интеллигенцией города Самары, по внушению которой он решает младшего, девятилетнего сына Егорку отдать в город, для обучения не ремеслу, как делали раньше, в крепостные времена, а по части «грамотности» и «науки», дабы «вывести» сына «в люди».

В 1864 году Егорка, уже бегло читавший псалтыри, четьи-минеи и всякие произведения гражданской печати, перекочевывает в Самару. Отец поселяет его в семье дальних родственников, бывших

дворовых помещика Карпова. За содержание сына отец платил немало: два рубля деньгами и два пуда муки в месяц. В дополнение к сему, около года Егорка должен был помогать хозяйке в ее мелочной лавке, быть «на побегушках». Хозяйка, Елизавета Николаевна Зиновьева, с сыном Петькой, ровесником Егорки, жила за одну семью с своей сестрой Анной Ивановой, у которой была дочь, Серафима Полиеновна, и сын, помоложе, Александр Полиенович Иванов. Серафима была искусной швеей, модисткой. Эта замечательная женщина была потом центром местной интеллигенции и оставила заметный след в истории общественного и революционного движения в России. Она с жадностью читала всю текущую радикальную литературу, образовала маленькую артель из девушек портних, по примеру Веры Павловны, героини прославленного романа Чернышевского. Около Серафимы Ивановой стала организовываться вся не только местная самарская, но и приезжая из других городов интиллигенция — гимназисты, семинаристы, студенты, приезжавшие на лето из университетских городов в Самару. Из этой молодежи впоследствии вышло много видных деятелей, оставивших след в истории русского общественного движения. Серафима Полиеновна до самой смерти своей продолжала оставаться притягательным центром, как в Самаре, так и в Казани, куда она уезжала на несколько лет. Так как Егорка Лазарев жил в одной квартире с Серафимой Ивановой, то вся местная интеллигенция обратила на него внимание. Изгнанный из духовной семинарии за крайнее вольномыслие, бедный и больной сын дьячка, Дмитрий Краснодемьянский, взялся вплотную за обучение «всем наукам» любознательного Егорки. Жил семинарист в грязном углу у одного сапожника и питался, чем Бог пошлет, не разбирая скоромных и постных дней. Нашего героя он

взялся даром и с превеликой охотой обучать у себя на-дому. Насыщая ученика сведениями по всем отраслям науки, учитель неизменно предлагал ученику разделить с ним его незатейливый обед или ужин, состоявший иногда — о, ужас... — даже по постным дням — из куска колбасы... Это обстоятельство на первых порах приводило нашего героя в великое смущение, и он сначала отказывался от соблазна.

Но «наука» вливалась в его мозги широким потоком. Здесь он впервые узнает от учителя, что в постные дни православные не едят «скоромное» только по глупости; что священная библія есть не христианское, а еврейское произведение. Евреи, живя в жарких странах, запрещали «своим», для здоровья, есть жирное мясо, а особенно свинину. И хорошо делали. Но нам, православным, обитающим в «мерзлых» странах — фаршированный поросенок под хрѣном во вся дни недели ни в каком случае повредить не может...

Из того же источника юный герой впервые знакомится с учением Чарльза Дарвина. Оказывается, мир сотворен не так, как сказано в библии. Сначала появились на земле растения и всякие деревья. А долго-долго спустя из них стали выходить разные букашки, таракашки, рыбы и всякое зверье...

Смышленый герой, как в пророка, уверовал в своего всеведущего учителя, и при первом же свидании с отцом стал просвещать его насчет откровений Дарвина. Для пущего вразумления неграмотного отца просвещенный сын старался образно изложить открытие Дарвина.

— Ты знаешь, тятя, что из навозу и разной нечисти родятся и выходят вши, блохи, мухи, комары и червячки разные. Таким же манером и из разных деревьев стали выходить звери и скотина

разная. Из дуба, примерно, вышел медведь, из осины — волк или собака, из липы и березы — коровы или овцы. И так далее.

Выслушивая теорию Дарвина и разъяснения сына, отец недоуменно качал головой.

— А откуда же вышел человек? — спрашивал он.

— Из обезьяны, — решительно отвечал сын.

*

Жажда к знанию росла. Занятия с гимназистами и с разной учащейся молодежью были отрывочны и случайны. В 1865 году, для правильного усвоения высшей науки, герой поступает в местное приходское училище, которое он кончает с «похвальной книгой» («Христоматия» Филонова — кладезь всякой мудрости). В 1866 году он уже в трехклассном уездном училище, и там из первого класса во второй переходит вновь с «похвальным листом».

Затем, поощряемый Ивановой и группировавшейся вокруг нее интеллигенцией, честолюбивый герой задумал поступить в барскую школу, — в гимназию...

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, в 1867 году он выходит, наконец, в «люди», т. е. надевает впервые смазные сапоги с каблуками и со скрипом, штаны навыпуск... Его тело впервые облекает форменный сюртук со светлыми пуговицами, а голову украшает фуражка с «серебряной» веткой и буквами «С» «Г» (Самарская Гимназия) вместо кокарды...

Надо оговориться, что люди, неспособные чувствовать высшего блаженства при ношении смазных сапог со скрипом, не способны понимать поэзию, и тем меньше поймут они чувства, охватившие счастливого героя...

Начиная с первого класса, в течение всего курса полуклассической семиклассной самарской гимназии наш герой не держал ни одного экзамена, кроме вступительного. Он все время шел первым учеником, имея в годовых отметках сплошные «пятерки», — что в те времена давало право переводиться в следующий класс без экзамена.

От родителей уже не требовалось никакой помощи: с первого дня поступления в гимназию молодой человек содержал себя уроками, которых он имел достаточно, благодаря особому покровительству учителей, инспектора и директора гимназии. По летам он жил в семье, выполняя все крестьянские работы.

*

Но достигнув самых вершин гимназической учености, герой вступил как раз в ту полосу русской общественной жизни, когда передовая интеллигенция стала приходить к заключению, что наука и вся городская культура и цивилизация являются одним сплошным недоразумением и чисто буржуазным предрассудком; что классовая городская наука и культура, — чем дальше, тем больше, — только закрепощает народ; что для осуществления «царства Божия на земле» достаточно только просветить народ, или, еще лучше — «поднять» его. Под народом разумели крестьян, которые еще при Аскольде уже «веселились, пировали, потешались круглый год, пили брагу, мед и хмельное вино», — а несколько позднее, — создали Псковскую и Новгородскую вечевые республики и вступили в Ганзейский Союз...

— Зачем изучать географию, когда извощики есть?..

Не желая отставать от духа времени, наш любознательный герой с презрением отвертывается от университета и, влившись в общий поток, двинулся «в народ», несмотря на то, что его внутренним вле-

чением оставалось стремление стать жрецом в храме Науки...

С этих пор перед нашим героем открывается широкая дорога, которая повела его не только по городам, весям и тюрьмам родной России, но и по городам, весям и тюрьмам чуть ли не всего Земного Интернационала...

II

Августа 9-го, 1874 года, наш герой, «вышедший в люди» и ушедший в «народ», подвергается аресту в родном селе Грачевке, где он работал с своей семьей в поле, убирая хлеб.

В это лето самарская губерния была наводнена революционной молодежью обоего пола, собравшейся со всех концов России. Значительная группа пропагандистов жила в самом селе Грачевке и в соседних с ней волостях. В семье Лазарева все лето 1874 года жили и работали в поле Марфа Никитина и Николай Бух, впоследствии попавший на каторгу.

Всюду шла проповедь о крестьянских восстаниях, по примеру Пугачева, и о низвержении самодержавия. Правительство перепугалось. Начались массовые аресты. Сначала в городах. При первых арестах в Самаре, одна из девушек из артели Серафимы Ивановой прибежала пешком, за семьдесят верст из Самары в Грачевку, чтобы предупредить об арестах. В ту же ночь отец Лазарева отвез Никитину и Буха в Самару. Когда, через неделю, в Грачевку нагрянула полиция, «гостей» уже не было, и Егор Егорович был арестован в единственном числе и бережно доставлен в самарскую тюрьму.

Мало-по-малу, самарская тюрьма, — собственно, даже две тюрьмы — «старая» и «новая», переполняются «революционными пропагандистами», и таким образом правительством впервые создается за-

родыш правильной революционной организации во всероссийских размерах. Для дальнейшего развития и укрепления организации, через год разрозненные «пропагандисты 36-ти губерний» стягиваются в Петербург, — в Петропавловскую крепость и в новый образцовый Дом предварительного заключения.

В конце 1874 года в «новой» самарской тюрьме с Лазаревым остаются всего три человека. Когда следствие было уже закончено и все успокоилось, в самарскую тюрьму приводят бывшего товарища Егора Егоровича по гимназии, Григория Андреева, и Надежду Николаевну Смецкую, студентку цюрихского университета, горячую бакунистку, рьяную сотрудницу известного эмигранта Михаила Петровича Сажина, проживавшего заграницей под фамилией Росса. Хотя формально все политические заключенные сидели в одиночном заключении, но вследствие неприспособленности провинциальных тюрем, общение заключенных между собою, и при посредстве ключников и при непреодолимой помощи уголовных, свободно разгуливавших по-двору, — было развито до «нек-плюс-ультра»...

При таких условиях Егор Егорович легко знакомится со Смецкой. Она, в свою очередь, знакомит его с жизнью русской молодежи заграницей, с известными эмигрантами и вождями социалистического движения на Западе, с Герценом, Бакуниным, Сажиным-Россом; между Смецкой и Лазаревым устанавливается столь тесная дружба, что они соглашаются в будущем работать вместе. Через несколько месяцев дело Андреева и Смецкой было разрешено административно — высылкой под надзор полиции в костромскую губернию на три и на пять лет... Лазарев из Самары направлялся в Петербург, для содержания в Доме предварительного заключения. Смецкая успела условиться с Лазаревым, что в ссылке она не останется, а при первом

удобном случае убежит, приедет в Петербург, где у нее много знакомых, постарается помочь бежать ему и арестованному Сажину, с тем, чтобы после этого ехать на пропаганду к уральским казакам. Так впоследствии отчасти и случилось, но полицейские власти так и не подозревали о близком знакомстве Лазарева со Смецкой. Когда, года через два, Смецкая, бежав из ссылки, пыталась устроить Лазареву и Сажину побег из Дома предварительного заключения и когда мысль об этом была оставлена, она с компанией товарищей обоего пола действительно уехала к уральским казакам... Двое же из друзей Смецкой, по рекомендации Егора Егоровича, поселились в Грачевке, в его родной семье, в качестве сапожника и портного. Позднее, Смецкая с несколькими товарищами была арестована в Илеке и посажена в уральскую тюрьму...

В Доме предварительного заключения Егор Егорович просидел два с лишним года.

По всей России было арестовано свыше двух тысяч человек. После четырех лет тюремного заключенія, из этого числа арестованных отбираются 215-ть человек, которые затем и отдаются Верховному суду правительствующего сената. Со времени вручения обвинительного акта и по день объявления приговора, состоявшегося 23 января 1878 года, из 215 подсудимых остается в живых 193 человека. Вследствие этого и самый процесс стал называться «процессом 193-х» или «большим процессом».

Пребывание Лазарева и других товарищей в Доме предварительного заключения преисполнено целым рядом комических, трогательных, драматических и трагических эпизодов. Он был свидетелем столкновения петербургского градоначальника генерала Трепова с заключенным товарищем Боголюбовым и участвовал в последовавшей затем демонстрации заключенных после наказания Боголюбова

розгами. Многие заключенные были избиты и посажены в карцеры. Лазарев и 30 других товарищей не попали в карцеры — только за полным переполнением их. Вместо карцера их, в наказание, посадили в «намордники», т. е. оставили в занимаемых ими камерах, но окна камер забили жестяными щитами. Лазарев просидел с «намордником» ровно шесть недель...

*

По судебному приговору 193 подсудимых были разделены на три категории. В первой категории, 90 с лишним человек (если не ошибаюсь, — 97) были оправданы; во второй — 60 с лишним человек были признаны виновными; но суд, после признания всевозможных уменьшающих вину обстоятельств и в виду долгого сиденья подсудимых под предварительным арестом, постановил обратиться к императору с ходатайством о дальнейшем смягчении наказания, при чем некоторых из этой категории, приговоренных к каторге, суд ходатайствовал освободить совсем или подвергнуть тюремному заключению на короткие сроки. 30 с лишним подсудимых третьей категории, при всех уменьшающих вину обстоятельствах, были осуждены на каторгу и к заключению в крепости. В последнюю категорию попали более пожилые люди, как Мышкин, Катерина Брешковская, Сергей Ковалик, Сажин, Войнаральский, Волховский и другие.

После трехмесячного судебного разбирательства, которое продолжалось без перерыва, и днем и ночью, 23 января 1878 года был, наконец, объявлен приговор, который, по тогдашним временам, все находили неожиданно мягким. А 24 января, т. е. на другой день после объявления приговора, раздается выстрел Веры Засулич в генерала Трепова,

— в отместку за его издевательство над Боголюбовым и за избиение остальных заключенных.

Взбешенный покушением на жизнь его верного Цербера, Александр II не только не уважил ходатайства суда о смягчении участи подсудимых, но даже отменил предоставленную некоторым «излишнюю потачку» со стороны суда, так что обе последние категории должны были идти на каторгу в страшные крепости-централки и в Сибирь.

Некоторые из выпущенных до судебного приговора на волю, на поруки, что было сделано судебными властями в расчете на милость императора, подлежали новому аресту и ссылке на каторгу... В этих случаях, защитники и либеральные люди из общества, вносившие денежные залоги за выпускаемых на поруки, часто в размере 5 и 10 тысяч рублей, — разрешали своим клиентам бежать заграницу. Так, например, избавился от каторги, выпущенный было на поруки доктор медицины Иван Иванович Добровольскій, который вплоть до революции и манифеста 17 октября 1905 года оставался заграницей...

Более молодые: Лазарев, Лев Тихомиров, Андрей Желябов, Софья Перовская и другие — попали в первую группу «оправданных» и вышли на свободу.

Оправданные по суду, выйдя на волю, в большинстве случаев стали руководить дальнейшим развитием революционного движения в России, тогда как две последние категории подсудимых на долгие годы были похоронены в страшных «централках» и в сибирских каторжных тюрьмах.

*

В конце февраля 1878 года Лазарев с группой оправданных товарищей возвращается в Самару,

где в живых находит только мать. Отец умер (запарился в бане на полке) как раз перед отъездом в Питер, на свидание с сыном.

Бузулукский исправник получает предписание — взять Лазарева немедленно, вне очереди, в солдаты. Своевременно Лазарев не был привлечен к исполнению воинской повинности по независящим от него обстоятельствам (арест, четырехлетнее сидение до суда, самый суд).

Получив отсрочку на две недели, Лазарев едет в Уральск для освобождения арестованной там группы пропагандистов, с Надеждой Николаевной Смецкой во главе. После многих и весьма любопытных приключений, он сам попадает в уральскую тюрьму и, после шестинедельного заключения, экстренно доставляется в Бузулук, где немедленно сдается в солдаты и с первой отходящей партией рекрутов отправляется прямо под Карс для пополнения убыли в действующих войсках (конец русско-турецкой войны).

Под Карсом Лазарев зачисляется в стрелковый батальон 159-го пехотного Гурийского полка, входившего в 40-ю дивизию. Вскоре его производят в унтер-офицеры.

Осенью 1878 года вся дивизия из под Карса возвращается в Европейскую Россию. Но вследствие опасения возможных столкновений с Австрией, дивизия передвигается поближе к границам Австрии, а Гурийский полк на зиму расквартировывается по селам курской губернии.

За время пребывания под Карсом, где стояло до сорока тысяч войск разного рода оружия, вокруг Лазарева образовался кружок молодых офицеров. Число членов кружка доходило до 20 человек; они согласились не прерывать сношений между собою и по возвращении в Россию. Во время стоянки Гурийского полка в Курске, раздается выстрел

Соловьева в Петербурге. Александр II остался невредим. По всей России служились благодарственные молебны, которые в городах сопровождались парадами воинских частей. Лазареву пришлось принять участие в военном параде в Курске.

Вызванное выстрелом Соловьева возбуждение среди офицеров привело к укреплению и более правильной организации офицерского кружка. На лето 1879 года вся дивизия сводится в Саратов, на лагерный сбор, после которого полки расходятся в места их постоянного пребывания. Гурийский полк возвращается в Самару.

По прибытии полка в Самару, охранное отделение, потерявшее было Лазарева из виду, узнает, наконец, что Лазарев служит в Гурийском полку и отдает приказ соответствующим властям — «произвести обыск у рядового Егора Егорова Лазарева и отдать его под строгий военный надзор, как политически неблагонадежного».

Исполнение приказа поручается ротному командиру, состоявшему деятельным членом офицерского кружка. Военные власти дали весьма лестный отзыв о Лазареве и не преминули сообщить охранке, что «рядовой Лазарев за отличие под Карсом был произведен в унтер-офицеры». В видах полноты изложения, необходимо заметить, что указанный письменный лестный отзыв составлялся ротным командиром при просвещенном содействии самого Лазарева...

Через две недели после получения приказа об обыске истек срок обязательной полуторагодовой военной службы Лазарева, числившегося во втором разряде по образованию, и он выходит в запас армии.

III

Летом 1879 года, после Липецкого и Воронеж-

ского съездов, землевольцы раскалываются, как известно, на «чернопередельцев» и на «народовольцев». Осенью этого же года в Самару приезжает товарищ Лазарева по процессу 193-х, Грачевский, в качестве агента партии Народной Воли, с отчетом о Липецком и Воронежском съездах, и Лазарев с самарскими товарищами образует в Самаре первый народовольческий кружок, к которому, как отделение, примыкает и офицерский кружок в составе 8 человек, образовавшийся еще под Карсом. Некоторые из членов военного кружка впоследствии примкнули к общепартийной военной организации партии Народной Воли и, таким образом, вошли в сношение с Сергеем Дегаевым.

С 1880 года по июнь 1884 года Лазарев живет с матерью в своей родной Грачевке. Здесь он ведет с семьей самостоятельное крестьянское хозяйство, — «мужикует», — благодаря чему охранное отделение, с Судейкиным во главе, считает его «чернопередельцем» и направляет к нему для «исправления» молодых «народовольцев».

Для того, чтобы получить право и предлог для свободных разъездов по разным городам, Лазарев, благодаря местным связям, становится частным поверенным при Съезде мировых судей бузулукского уезда. Занимаясь прилежно, по всамделишному, крестьянским хозяйством, Лазарев тем не менее находил время аккуратно приезжать на все сессии мирового суда, ведя судебные, гражданские и уголовные дела. И на этом поприще он становится популярным.

В этот период «мужикования» и происходит его первое личное знакомство с Л. Н. Толстым, в самарском имении которого он проводит целый месяц с группой приезжей на кумыс из столиц молодежи.

После убийства Судейкина, у убитого была найдена «памятная записка» Сергея Дегаева, кото-

рую последний написал для Судейкина в тюрьме, спасаясь от расстрела. В ней было сказано: «Е. Е. Лазарев, с начала образования партии Народной Воли, стоял во главе военной организации», — что, как видно из изложенного, не совсем верно.

Однако, этого было достаточно, чтобы, по докладу сенатора Любощинского, постановлением комитета министров от 8 июля 1884 года, унтер-офицер Лазарев был сослан в Восточную Сибирь сроком на три года, — в административном порядке, т. е. без суда и опроса.

Указанные три года Лазарев отбывал так: до мая 1885 года в Москве, в Бутырской пересыльной тюрьме; осенью этого года долгим этапным путем (тогда сибирской железной дороги не существовало) он достигает Читы, забайкальской области, где и встречается с американскими путешественниками — доктором Кеннаном и художником Фростом; на весь срок ссылки был поселен в селе Татаурове читинского округа, где и познакомился с ссыльным штундистом Елисеем Сукачем.

Отбыв срок ссылки, осенью 1887 года Лазарев вернулся в Самару. Желая вознаградить мать за все ее долгие муки, он решает осесть с нею в городе Бузулуке, чтобы доставить ей перед смертью небольшой комфорт и спокойную жизнь. Но уже через пять месяцев по возвращении в Самару, 18-го февраля 1888 года, накануне приезда матери в Бузулук, он вновь арестуется за сношения из Сибири со штундистами киевской губернии. Его сажают в самарскую тюрьму, откуда через месяц переводят в киевскую тюрьму. «По тщательному исследованию дела», которое велось начальником киевского жандармского управления, генералом Новицким, Лазарев, по высочайшему повелению императора Александра III, от 6 августа 1888 года, был вновь сослан в Восточную Сибирь, сроком на пять лет.

Снова Бутырская тюрьма в Москве, снова долгий путь до Иркутска. Но на этот раз зимой, в трескучие, сибирские морозы.

Весной 1889 года Лазарев был поселен среди бурят шаманского вероисповедания, в укырской волости, балаганского уезда, иркутской губернии.

Жизнь среди бурят изобилует занятными инцидентами. Популярность Лазарева среди населения и самого высшего иркутского начальства росла не по дням, а по часам. Среди бурят он вскоре прослыл чудесным врачем. Через два года, 20 июля 1890 года, Лазарев внезапно скрывается и через Амур, Николаевск, Владивосток и Японию бежит в Америку и высаживается в Сан-Франциско.

IV

С осени 1890 года по март 1894 года Лазарев остается в Америке; он за это время превосходно изучает страну, пройдя ее буквально вдоль и поперек. В первые пять месяцев, живя в Сан-Франциско, он знакомится с Калифорнией, с ее big tries, Иоземитской долиной и американскими нравами на Дальнем Западе.

Затем, постепенно подвигаясь на Восток, он девять месяцев проживает в Денвере, в штате Колорадо, где с приехавшим из Сибири русским инженером Реутовским, путешествует по Скалистым горам, изучая прииски.

Живя в Денвере, он занялся изучением английского языка под руководством замечательной женщины, миссис Скотт-Сакстон, принявшей в нем чисто материнское участие. В Денвере у нее была оригинальная школа, под названием «Академия красноречия и выразительного чтения» (The Academy of Elocation and Expression), где часто обучались искусству произнесения речей кандидаты

при выборах в сенат или в конгресс. Изучение английского языка вовлекло Лазарева и в изучение языков животных... (Громадный материал, собранный Лазаревым в результате его занятий филологическими науками, погиб в 1917 году, при взрыве русского парохода немецкой подводной лодкой).

Лето 1891 года Лазарев работает на крупной земледельческой ферме.

Подвигаясь далее на Восток, Лазарев на два года оседает в Милвоки, в столице штата Висконсин. Здесь он работает на разных фабриках и заводах. Для основательного изучения английского правописания, он делается профессиональным наборщиком. В Милвоки имелась значительная колония чехов. На время президентских выборов, чехи стали выпускать свою газету и пригласили Лазарева в качестве наборщика. В это время приехал из Чехии молодой человек, сын известного чешского деятеля Ригра. Молодой Ригр принимал участие в редакции. Все эти годы Лазарев был отрезан от России и варился в американском котле.

На время Чикагской всемирной выставки Лазарев приехал в Чикаго, где было много русских. На выставке он нашел русских, приехавших из России. Там он встретил Вл. Гал. Короленко, корреспондента «Вестника Европы» Тверского-Деменса (из Лос-Анжелоса), Линева с женой, бывшей артисткой московской оперы Паприц, приехавшей на две недели на выставку с своим русским хором, по приглашению администрации выставки. Лазарев быстро сошелся с ними и почти не разлучался. С Короленко он ходил по городу и на разные конгрессы, приуроченные к выставке. Он же познакомил Короленко с героем его замечательного рассказа «Без языка».

Две недели ангажемента хора Линевой-Паприц быстро пролетели. И самой Линевой и членам боль-

шого хора не хотелось уезжать из Чикаго. Чтобы продлить ангажемент, Линева поручила Лазареву составить сценки, в которых можно было бы по желанию петь все те же русские песни. Он быстро написал двух-актную пьесу из крестьянской жизни — «Свадьбу». Первое действие — в доме невесты. Приходят девушки на «посиденки». Поют всякие песни. Приходят парни; новые песни. Приходят сваты сватать невесту: «Проезжие купцы-молодцы. По свету рыщут, все куницу ищут. Коли нет куницы, купим молодицу», и т. д. Происходит обряд согласия невесты. Поются свадебные песни, и действие заканчивается грустной песнью невесты: «Что, матушка, во поле пыльно». После падения занавеса, невидимо для публики в церкви совершается обряд венчания, с пением церковных песен. — При открытии занавеса — второе действие в доме жениха по приезде из церкви. В первом действии Лазарев исполнял главную роль свата, а во втором — «дружки» — роль самая ответственная. В результате: в течение следующих шести недель в самых отдаленных местах выставки можно было видеть в виде больших объявлений «Свата» и «Дружку», «Посиденки русских девушек», с прялками и гребнями. Благо, что в русском отделении выставки можно было достать все мелочи обстановки крестьянской избы: лохань, светец для лучины, гребни, щетки, куделю и т. п.

Представление происходило въ специальном здании «Мюзик Холл» ежедневно, в течение полутора часа. Зал всегда был переполнен, а множество русских гостей и служащих не пропускали ни одного представления, тем более, что песни менялись. Выгода для членов хора была та, что они ежедневно, даром, могли целый день осматривать выставку.

Здесь небезинтересно будет отметить, что одновременно с хором Линевой-Паприц на выставке

в Чикаго заведующим моторовыми лодками на искусственном озере «Серпантин» состоял наш небезызвестный капитан Сергей Дегаев, под именем инженера Горева...

Лазарев так сжился с хором и Линевыми, что решил с ними ехать в Нью-Йорк, по пути заезжая в города, где хор был заранее ангажирован. Так ему удалось попасть в Бостон, чтобы отдать визит художнику, сопровождавшему Кеннана в сибирском путешествии, Джорджу Фросту, и познакомиться с редактором «Бостон-Герольд», Эдмундом Ноблем, и его женой, русской землячкой, урожденной Лидией Пименовой, с которыми Лазарев поддерживает сношения до сих пор. Эдмунд Нобль был тем корреспондентом английского «Таймса», который первым интервьюировал Чернышевского в астраханской губернии, по его возвращении из Сибири.

В Нью-Йорке Лазарев попал в многочисленную русскую колонию и познакомился с выдающимися русскими и английскими социалистами, состоя профессиональным наборщиком в нью-йоркских газетах. Короче сказать: описание американской жизни — одно может составить целые томы. Сначала он предполагал заняться агитацией вместе с Кеннаном против предполагавшегося трактата о выдаче русских политических преступников правительством Соединенных Штатов, — для чего именно, по настоянию сибирских товарищей, он и должен был бежать в Америку. Затем он принимает участие в агитации в пользу голодающих во время страшного голода в самарской губернии, в 1891—1892 году, когда американцы снарядили три парохода с хлебом для России. Наконец, Лазарев так втянулся в американскую жизнь, что задумал принять американское подданство и добыл уже, на случай, так называемые, «первые бумаги». К счастию, все это осталось без последствий.

V

Весной 1894 года лондонские товарищи Степняк, Волховский, Чайковский и Леонид Шишко, образовавшие так называемый «Фонд вольной русской прессы в Лондоне», вызывают Лазарева в Европу для тайной поездки в Россию с целью установления с ней правильной связи.

Вместо этого, по настоянию Шишко, Лазарев переезжает из Лондона в Париж представителем Фонда. В Париже в это время проживала масса русской учащейся молодежи. Поле для его работы в Париже было обширное. К сожалению, летом 1894 года, в разгар «дела Дрейфуса», совершается убийство президента французской республики Карно. Начинается реакция. В Париже собирается интернациональная конференция из представителей охранных отделений всех стран Европы. На конференцию от России является начальник варшавского охранного отделения Скержинский. Во Франции начинаются гонения на «анархистов». Проводятся через парламент знаменитые законы против анархистов, «Lois scelerates». Для давления на палату при проведении закона министерству Шарля Дюпюи требуется подходящий материал.

Под благовидным предлогом Лазарев и два других русских — Баранов и корреспондент «Русских Ведомостей» Аркадакский, — арестуются и содержатся в парижском «депо» все время, пока в палате обсуждаются законы против анархистов, а когда эти законы принимаются, то все арестованные, как анархисты, высылаются из Франции.

Лазарев попадает вновь в Лондон и занимает место секретаря Фонда вольной русской прессы. Фонд откупил у Трюбнера все издания Герцена и собрал разбросанную по разным городам Европы

старую революционную литературу. Составляется в Лондоне ценный склад запрещенных русских книг, которые и начинают тайно переправляться через границу в Россию. Фонд организует перевозку книг через контрабандистов. Всем этим заведует секретарь Фонда. В этих сношениях с Россией компрометтируются в Нижнем адвокат Фрелих и покойный доктор Фейт и, таким образом, навсегда приобщаются к русскому революционному движению. Известно, что позднее доктор Фейт избирается в члены центрального комитета партии социалистов-революционеров.

Развивая свою литературную деятельность, Фонд начинает издавать под редакцией Волховского «Летучие Листки», во множестве рассылавшиеся в Россию по почте в письмах.

Русское правительство обращает, наконец, исключительное внимание на «вредную» деятельность Фонда. Члены Фонда, и особенно секретарь его, Лазарев, окружаются русскими и французскими шпионами.

Русское охранное отделение, зная о неизбежном фатальном исходе болезни Александра III, решило подготовить выгодное для реакции вступление на престол нового императора Николая II. В этих видах, начальник киевского жандармского управления, генерал Новицкий, которому был отдан в заведывание весь юг России и заграница, посылает из Киева заграницу, в качестве своего агента, нашего бывшего товарища по ссылке Трушковского, — с целью войти в сношения с эмиграцией, следить за ее деятельностью и предупреждать полицию о всех намерениях эмигрантов. Трушковский соглашается, дабы получить возможность с своей женой выбраться из России заграницу, и приезжает в Лондон к членам Фонда, к его старым товарищам по сибирской ссылке. Трушковский,

желая, как можно скорее, сбросить с себя кошмар легкомысленного согласия на свою позорную роль провокатора, по приезде в Лондон тотчас же откровенно рассказывает своим товарищам, как и зачем он попал заграницу. В доказательство правдивости своего рассказа он передает им все письма к нему генерала Новицкого и все данные ему инструкции. Он просит в то же время снять с него мучительное бремя его тайны и принять его в свою товарищескую среду. Таким образом, члены Фонда узнали первыми о предстоящей смерти Александра III. Краткие намеки на этот эпизод можно найти в № 13 «Летучих Листков».

Деятельность Фонда и сношения его с Россией и другими странами Европы развились настолько, что члены Фонда решили приступить к изданию политических брошюр и памфлетов. Из Америки Лазарев привез нужные средства на издание расширенного и дополненного справочника — «Календаря Народной Воли». Первоначально это предприятие было поручено выполнить совместными усилиями Лазареву и Дебогорию-Мокриевичу. Но когда Лазарев стал секретарем Фонда, а Дебагорий уехал в Болгарию, Фондом выписывается из Швейцарии в Лондон Владимир Львович Бурцев, коему придаются еще два товарища в помощники. Под руководством Степняка, Бурцев с своими помощниками работает несколько месяцев в библиотеке Британского Музея, где имеется обширное русское отделение; добываются весьма ценные материалы по истории революционного движения в России, и в результате появляется в издании Фонда известная книга В. Л. Бруцева «За 100 лет».

Издательская деятельность Фонда развивается до того, что члены его решили издавать периодический орган, под названием «Земский Собор», редактором которого был избран Кравчинский-Степ-

няк. Но по дороге на квартиру Волховского и Лазарева, где предстояло окончательно решить детали издания газеты, Степняк был убит наскочившим на него поездом.

Смерть Степняка разрушила планы издания газеты.

VI

Летом 1895 года Лазарев едет в Швейцарию, намереваясь тайно — не через Кале, а через Дьепп — проехать через Францию, из которой он был выслан. Оказалось, что французские шпионы неотступно следовали за ним, так что при высадке его в Дьеппе, на французском берегу, Лазарев был арестован и посажен в местную тюрьму. Но благодаря вмешательству П. Л. Лаврова и особенно Давида Александровича Аитова в Париже перед министром внутренних дел Лейгом, вместо отдачи под суд за нарушение приказа о высылке, министерство приказало посадить Лазарева на первый отходящий пароход и возвратить туда, откуда приехал...

Так счастливо кончилась неудачная поездка в Швейцарию. Пришлось ехать в Швейцарию вновь уже через Бельгию, Люксембург и Страсбург.

До поздней осени 1895 г. Лазарев живет в Швейцарии, в Божи над Клараном, где проживали в то время его русские знакомые и товарищи из Самары — Осиповы и Н. И. Кочеткова.

Здесь он знакомится с своей будущей женой, вдовой русского эмигранта Лакиера, которая владела в Божи унаследованными от мужа домом и молочной фермой.

На зиму 1895 года Лазарев уезжает снова в Лондон. Он знакомит своих товарищей со своими личными планами, с принятым решением переселиться навсегда в Швейцарию. Для замещения его

секретарского места члены Фонда решили выписать из Америки старика Лазаря Гольденберга.

Весною 1896 года Лазарев переселяется в Швейцарию. Но летом того же года, ко времени открытия в Лондоне международного социалистического конгресса, одновременно с Г. В. Плехановым и Е. Д. Кусковой-Прокопович, он, вместе с Ю. А. Лакиер, едет снова в Лондон для заключения формального гражданского брака: для русских гражданский брак без церковного в Швейцарии тогда не признавался.

Начиная с 1896 года жизнь и деятельность Лазарева протекают в Швейцарии. Следует сложное и насыщенное событиями десятилетие. Мало-по-малу Швейцария становится центром русской политической эмиграции и учащейся молодежи, которая прибывает из России и заполняет университеты страны.

Молочная ферма и кефирное заведение в Божи над Клараном процветают и становятся популярными во всей Европе. Известно, что до мировой войны Швейцария представляла из себя «международную гостиницу», куда здоровые съезжались для летнего отдыха, — а больные для лечения, — богатые и бедные из всех стран света. Монтре и Кларан с окрестностями являются излюбленным курортом Швейцарии. Дом, молочная ферма и кефирное заведение Лазарева в Божи над Клараном (Bougy sur Clarens) с их живописными окрестностями вскоре становятся средоточием русской учащейся молодежи, политической эмиграции и русских и иностранных туристов.

История фермы, сама по себе, составляет интересную страницу в истории русского освободительного движения. На протяжении двадцати лет через ферму и дом Лазарева прошли тысячи самых разношерстных лиц всех национальностей и общественных положений, от социалистов и анархистов до

коронованных особ включительно. Для примера отметим здесь только один факт.

В 1897 году австрийская императрица Елизавета, под именем герцогини Гогенлоэ, со свитой проводившая лето в Монтре, посещает ферму Лазарева и знакомится с ее хозяином. После подробного осмотра фермы и двухчасовой непринужденной беседы, между фермером и высокой гостьей устанавливается столь горячая взаимная симпатия, что императрица — мило, изящно и в то же время повелительно — пригласила радушного хозяина состоять при ее особе лейб-медиком на все время ее пребывания в Швейцарии. Хозяину ничего не оставалось, как почтительно повиноваться...

Состоявший при императрице лейб-медик (чех) в тот же день был отправлен императрицей с экстренным поручением в Вену, и с следующего же дня Лазарев занимает его почетное место. В течение шести недель, проведенных императрицей в Монтре, Лазарев остается верным блюстителем здоровья ее величества. Он ежедневно навещает свою клиентку, сближается с старой фрейлиной, благодаря чему перед ним открываются все «тайны» австрийского двора. Все изложенное в статьях, лет пять тому назад опубликованных в «Чешском Слове» относительно самоубийства принца Рудольфа и сопровождавших его обстоятельств, было Лазареву тогда же известно.

Его влияние возрастает до того, что приехавший навестить императрицу наследник престола, покойный Фердинанд, один из виновников мировой войны, прибегает к протекции нового лейб-медика, дабы добиться у императрицы пятиминутной аудиенции.

Императрица Елизавета, когда-то первая красавица в Европе, была по натуре чрезвычайно интересная, любознательная и хорошая женщина. Но

распущенная среда австрийского двора была поистине баснословна. Гнусное убийство императрицы в Женеве сумасшедшим итальянским анархистом Лукени в ее роковой приезд в Швейцарию в 1898 году глубоко возмутило и потрясло ее бывшего лейб-медика...

VII

Девяностые годы прошлого века были годами черной реакции в России. С разгромом партии Народной Воли, в России распространяется узкий марксизм, экономизм и аполитизм. Как раньше «революционные народники» преклонялись перед добродетелями «мужика», «трудового крестьянина», составлявшего массу русского народа, относясь в то же время отрицательно к городу и городскому рабочему, так теперь социал-демократы стали преклоняться перед городским рабочим, «пролетарием», презрительно относясь к крестьянству, как к самой реакционной «мелкой буржуазии».

Русские социал-демократы в эти годы успели организовать правильную политическую партию и играли не последнюю скрипку во втором Интернационале, куда всеми средствами они старались не допустить народовольческую партию, защищавшую интересы трудового крестьянства и сосредоточившую свою политическую деятельность на борьбе с царским деспотизмом.

Не имея достаточных сил, чтобы восстановить свою политическую партию, старые народники и народовольцы заграницей решили внести, по крайней мере, поправку или дополнение к узко-марксистской деятельности социал-демократов в России. С этой целью решено было основать заграницей «Социалистическую аграрную лигу», поставившую себе целью — рядом с пролетариатом отстаивать

интересы трудового крестьянства и снабжать заброшенное крестьянство соответствующей агитационной литературой.

В центре этой Аграрной Лиги стали целиком все члены Фонда вольной русской прессы в Лондоне, к которым мало-по-малу стали присоединяться члены «Группы старых народовольцев» в Париже — Н. С. Русанов, И. А. Рубанович и др.

В это время появляется заграницей молодая и талантливая чета Черновых, которая тоже приняла участие в организации Лиги. Первоочередным своим делом «Социалистическая аграрная лига» поставила составление и издание соответствующих популярных брошюр для крестьян. На похороны П. Л. Лаврова в Париже съезжаются все заинтересованные лица. Тайно, без разрешения французского правительства, на похороны приехал из Швейцарии и Лазарев. И здесь была окончательно оформлена организация и выступление «Аграрной лиги». Изготовляется ряд брошюр. Волховский, Лазарев и Чернов становятся редакторами. Первой выпускается брошюра Лазарева: «Воля царская и воля народная», разошедшаяся потом в нескольких изданиях. Затем появилась брошюра А. Н. Слетовой-Черновой: «Венгерские крестьяне» и другие.

Брошюры имели в России столь большой успех среди городских рабочих, «пролетариев», что социал-демократы, за отсутствием своей собственной популярной литературы, стали тысячами экземпляров покупать и доставлять брошюры «Лиги» в Россию.

«Аграрная лига» не претендовала на роль самостоятельной политической партии, и потому социал-демократы отнеслись к ней снисходительно. Таким образом, благодаря просвещенному содействию социал-демократов, «Аграрная лига» стала очень популярной в России.

В это время Бабка Брешковская, вернувшаяся из Сибири, Буланов, Аргунов и другие народники «южные» и «северные», созывают съезд, объединяются и кладут основание для новой политической партии народнического направления. Аграрная программа заграничной «Аграрной лиги» признается съездом полностью, а для выработки политической части программы партии съезд решил войти в сношения с заграничной «Лигой» и предложить членам ее выработать дополнительно и политическую часть партийной программы. Для переговоров с «Лигой» заграницу были командированы от съезда инициаторов два делегата: Григорий Гершуни и Евно Азеф... Члены «Аграрной лиги» охотно принимают на себя эту миссию. И с этих пор «Лига» конфиденциально становится заграничной делегацией новой партии «социалистов-революционеров». Было решено: рядом с партией официально сохранить «самостоятельное» существование и организацию «Аграрной лиги», дабы социал-демократы, у которых был хорошо налажен аппарат контрабандного транспорта в Россию, — не прекратили покупки брошюр «Лиги» и доставки их в Россию; ибо, как сказано выше, в это время самыми энергичными распространителями брошюр «Лиги» были именно социал-демократы.

Так началась деятельность партии социалистов-революционеров. Над составлением политической программы новой партии деятельно работал В. М. Чернов.

Так как предстояло открытое провозглашение об образовании новой партии социалистов-революционеров, с центральным комитетом в России и заграничной делегацией в Западной Европе, то было решено: официально оставив «Аграрную лигу» самостоятельной, выделить из состава ее членов наиболее подходящих лиц для образования заграничной

делегации. Так и было сделано, и отныне брошюры стали выпускаться под разными обложками: от имени «Лиги» и от лица «партии социалистов-революционеров».

В состав заграничной делегации партии вошли все члены Фонда — Волховский, Шишко, Лазарев, Чайковский, затем супруги Черновы, приехавшие из России Осип Минор, Михаил Гоц и другие. «Революционная Россия», которую в России начали издавать Аргунов и Павлов, с третьего номера переносится заграницу и становится официальным органом партии социалистов-революционеров.

Начинается энергичная и бурная деятельность партии социалистов-революционеров в России и заграницей, в которой руководящую роль стала играть заграничная делегация. Деятельность эта развивается столь успешно, что после убийства Плеве в 1904 году партия добилась, наконец, принятия ее на гамбургском конгрессе во второй социалистический интернационал. На конгрессе в Гамбурге Лазарев, Чернов и большинство членов заграничной делегации, вместе с приехавшей из России Катериной Брешковской, впервые выступают, как официальные представители партии социалистов-революционеров. К сожалению, приходится добавить, что на этом же конгрессе присутствовал и Евно Азеф, в качестве члена и главы Боевой организации партии социалистов-революционеров.

Вплоть до революции 1905 года Швейцария, и специально Женева, — становится центральным местом партийной организации. В Женеве издается «Революционная Россия», под редакцией В. Чернова, Л. Шишко и Мих. Гоца. Ферма в Божи и ее окрестности становятся центром смеси всех языков и народов, вер и направлений. Вскоре Божи и окрестности стали наполняться беглыми из Сибири политическими. Ферма в Божи делается особенно

излюбленным местом поселения многих живых и уже успевших окончить свой жизненный путь правителей современной Советской России; в разное время здесь жили Ленин, Зиновьев, Бухарин, Луначарский, «Безработный» (Мануильский), «товарищ Абрам» (Крыленко), Трояновский и многие другие.

После революции 1905 года и объявления манифеста 17 октября вся деятельность партии социалистов-революционеров переносится в Россию. Заняв открыто-боевую позицию по отношению к деспотическому императорскому правительству, партия решила не принимать участия в работах первой Государственной Думы, желая убедиться, можно ли прекратить боевую деятельность и стать на рельсы мирной демократической деятельности. Грубо разогнав первую Государственную Думу, правительство решило поставить ставку на безграмотного и верного мужика, дав ему льготы при выборах. Партия социалистов-революционеров не могла больше оставаться в подполье; она решила дать бой правительству на «мужике», интересы которого ей были столь близки. Во второй Государственной Думе появилась значительная фракция социалистов-революционеров.

В 1907 году Лазарев, после долгого отсутствия, возвращается в Россию и легализируется. Живет в Петербурге, вместе с Милашевскими, и лишь после разгона второй Государственной Думы едет в Самару и в свою родную Грачевку.

Осенью 1907 года Лазарев возвращается в Швейцарию. В следующем году провокаторство Азефа было разоблачено, и в России начался разгром партии социалистов-революционеров. Брешковская, Чайковский, Минор и другие товарищи, проживавшие в России нелегально, были выданы и арестованы.

В 1909 году Лазарев вновь едет в Петербург, где становится секретарем редакции журнала «Вест-

ник Знания», издававшегося В. В. Битнером. После студенческой демонстрации на Невском проспекте по поводу смерти Л. Н. Толстого, Столыпин решил очистить Петербург от всех социалистов-революционеров, правых и виноватых. Лазарев неожиданно арестуется; его сажают в хорошо знакомый ему Дом предварительного заключения, а через три месяца, в 1911 году, правительство Столыпина постановило отправить его, административным порядком, в третий раз в Сибирь на четыре года. Но благодаря предстательству друзей, Столыпин заменяет ссылку в Сибирь высылкой заграницу на тот же срок. После месяца отсидки в петербургской пересыльной тюрьме, которую Лазарев перед тем посещал при отправке Брешковской в Сибирь, он неожиданно выпускается на волю, с обязательством явиться в петербургское охранное отделение и через пять дней непременно выехать заграницу.

По паспорту, выданному ему на границе, Лазарев возвращается к себе домой, в Швейцарию.

IX.

Весной 1915 года истекал четырехлетний срок высылки Лазарева заграницу и он получал право вернуться в Россию. Но в 1914 году разразилась мировая война. Путь в Россию был отрезан.

С открытием войны, по всем швам разорваны были все успевшие сложиться национальные, интернациональные организации, раскололись партии всех направлений, от монархистов до анархистов включительно. Казалось, мозги самых видных социалистических вождей и государственных людей были вывернуты на изнанку. В самую критическую минуту душа международного социализма и благородное сердце гениального Жореса перестало биться. От рабочего и социалистического интернационалов

осталось одно печальное недоразумение. В Германии 97 ученых, «юнкера» и социалисты встали плотной стеной вокруг трона Гогенцоллерна. С роковой необходимостью то же совершилось и в противоположном лагере «союзников». Рабочий и социалистический интернационалы могли принимать какие угодно предупредительные меры до войны, но прекратить войну, когда она уже началась, — было чистейшей фантазией или дон-кихотством... Для подавляющего большинства человечества это было совершенно ясно. Раз загорелось здание, никакими «молебнами» прекратить пожара невозможно. Это безнадежное сознание бессилия победить войну молебнами и пацифистской проповедью было почти всеобщее. Но среди кучки донкихотствующих, религиозных и светских пацифистов выделяется постепенно ничтожная группа революционных фантазеров или демагогов, которые хотели затушить мировую войну мировой гражданской войной, залить мировой пожар потоками крови междоусобной войны.

Наиболее благоприятной средой, порождавшей эти фантазии, явилась эмиграция и особенно русская, непосредственно не связанная с ужасами, происходившими на ее родине. Как и у американских пацифистов, в стиле «аргонавтов» автомобильного короля Форда, русские эмигранты, стоявшие вне ужасов войны, продолжали, как и до войны, строить воздушные замки в стиле Zusammenbruch'а мировой социальной революции, и самым резким диссонансом своих выступлений, среди грохота пушек и взрывов бомб, — обращали на себя особенное внимание.

Среди морей человеческой крови и груд развалин в городах и весях континентальной Европы, всякий голос протеста против чудовищной человеческой бойни всем казался «трубой ангела». Такими

трубами, прозвучавшими на весь свет, явились впервые Циммервальд и Кенталь. От звуков этих труб, правда, не развалились стены Иерихонские, но зато разделился весь социалистический интернационал, все политические партии, — на правых, сторонников национальной обороны, и на интернационалистов, ее отрицавших.

Лазарев очутился «социал-патриотом». Целый ряд социал-патриотов, его товарищей, пошли умирать на французский фронт, где 6 июня 1915 года погиб бывший член центрального комитета партии социалистов-революционеров, — кристально-чистый, честный Степан Николаевич Слетов.

С взрывом русской революции сами циммервальдцы раскололись на «ангелов» и «аггелов», — на «последовательных» и «непоследовательных» интернационалистов. «Аггелы», очертя голову, бросились немедленно и напрямик через Германию на место действия, в красную столицу России. Всех цветов «ангелам» и «социал-патриотам» пришлось делать окружный путь из Швейцарии через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Из за дальности пути многим из «социал-патриотов» пришлось приехать в Петербург к «шапочному разбору»...

Лазарев принадлежал к числу последних. Он выехал из Швейцарии 17 мая и через Англию и Скандинавию приехал в Петербург 2-го или 3-го июня 1917 года.

Здесь мы не будем останавливаться на его продолжительной борьбе заграницей с «пораженцами» при открытии войны. Не будем останавливаться и на борьбе с ними с момента взрыва русской революции, когда, казалось, у всех помутился разум; когда ему с болью в душе и с проклятиями на устах пришлось провожать из Швейцарии отъезжавших в «запломбированных вагонах» в Россию эмигрантов

и своих товарищей по партии, с которыми он делил ссылку в Сибири и изгнание в течение десятков лет. . .

X

По приезде в Петербург Лазарев поселяется в семействе своей старой знакомой Марии Ивановны Страховской. С обломками своей когда-то большой семьи М. И. после большевистского переворота долго жила в Праге; лет пять тому назад она умерла.

Ровно через месяц, 3-го июля, как раз в день первого выступления большевиков против временного правительства в Петербурге, Лазарев выехал из него в свою родную Самару. О самом выступлении он узнал по дороге к Москве; пришлось прервать путешествие. Лазарев остановился на неделю в Москве, где и переживал с товарищами по партии бурные события этой недели. В Москве городским головой был Вадим Викторович Руднев, который в настоящее время состоит одним из редакторов прекрасного русского зарубежного литературного и политического журнала «Современные Записки», издаваемого социалистами-революционерами, и постоянно проживает в Париже. Председателем московской городской думы был тогда ныне покойный Осип Соломонович Минор.

XI

Но вот Лазарев в Самаре.

Самара далеко опередила красный Петербург. Вся губерния была организована в единую и нераздельную социалистическую республику, — с густым аграрным оттенком... Республика управлялась тремя многоголовыми «совдепами», с подчиненными им уездными и волостными «совдепами» — советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...

Рабочие и солдатские советы по своей левизне соперничали с самыми чистокровными большевиками. Самый многочисленный «совдеп», объединявший крестьянское сельское население, составлял гвоздь, на котором покоилась администрация и весь общественный порядок в губернии. Крестьяне составляли правое крыло, благодаря чему устранялись эксцессы и действительно поддерживался некоторый порядок.

Все земли частных владельцев в губернии были экспроприированы и поступили в общее владение. Формально, по всей губернии господствовала партия социалистов-революционеров, в лице партийного губернского комитета, управлявшего губернией через крестьянские «совдепы», которые повсюду сочувствовали партии. Диапазон эсеровских требований достигал такой высоты, что местные бедные большевики часто им завидовали, и на митингах, проводившихся на Алексеевской площади у подножья памятника императору Александру II, с отчаянием старались перещеголять господствующую партию.

Вся самарская губерния, от грудных младенцев до столетних стариков обоего пола, оказалась завзятыми, убежденными и страстными эсерами, с поправками на максимализм. В отличие от старых дореволюционных социалистов-революционеров, новые эсеры стали называть себя эсерами-максималистами. Первую скрипку у максималистов держали Гольц и Кузьмин.

Лишь после упорных усилий и отчаянной битвы Лазареву удалось реорганизовать губернский комитет партии, удалив из него крайних максималистов, перед которыми сами большевики казались «мальчишками и щенками».

События, последовавшие затем, по своей сложности, трубуют особого очерка. Здесь достаточно сказать, что Лазарев тотчас же вливается в общий

поток самарского движения и принимает участие во всех событиях этого горячего времени. Он немедленно вступает членом в совет крестьянских депутатов и становится членом партийного губернского комитета. Он объезжает несколько волостей самарского и бузулукского уездов. Лишь для короткого отдыха он посещает несколько раз свою родную Грачевку, где нашел здоровой, бодрой и энергичной свою родную сестру-старуху, замечательную крестьянскую женщину, с которой связаны у него самые светлые воспоминания его юности. Единственная оставшаяся от громадной семьи сестра, говорят, умерла в 1921 году от голодного тифа...

Но события бурлят. Октябрьский переворот застает Лазарева в Самаре. Губернским съездом крестьянских депутатов Лазарев посылается в Петербург, во всероссийский совет крестьянских депутатов для борьбы с захватчиками власти...

В ноябре он снова в Петербурге. В его отсутствие в Самаре происходят выборы в Учредительное Собрание, куда он заочно избирается членом — по объединенному списку от партии социалистов-революционеров и крестьян самарской губернии.

Возвращаться в Самару не было времени. Начинаются подготовления к открытию Учредительного Собрания, закончившиеся разгоном последнего большевиками, совместно с «левыми социалистами-революционерами», прошедшими по общему партийному списку. Каин убивает Авеля...

Следует полулегальная и полуголодная жизнь в Петербурге и нелегальная и голодная жизнь в Москве, куда Лазарев переезжает одновременно с Брешковской.

В это смутное время последние надежды и внимание членов Учредительного Собрания направлены на Сибирь. В начале июня происходит неожиданное выступление чехов в Самаре и образование са-

марского правительства из членов Учредительного Собрания («Комуча»). Из Самары в Москву к членам Учредительного Собрания посылаются последовательно два гонца — с просьбой поспешить в Самару на помощь новому правительству.

Лазарев, вместе с Брешковской, выезжает из Москвы через Вологду до Вятки, провожая Брешковскую по дороге ее в Омск. Здесь, оставив ее в надежных руках для дальнейшего следования, сам он счел своим долгом, как представитель самарских крестьян, вернуться в Самару, задумав пробраться туда по Вятке, Каме и Волге.

После многих приключений в совершенно романтическом стиле Лазареву удается перейти в Симбирске большевистский фронт и, 14 июля 1918 года, благополучно приехать в Самару.

Следует длинная и сложная история самарского правительства, в котором Лазарев принимает на себя управление ведомством народного просвещения. Следует упорная работа по выработке и применению своеобразных приемов управления разоренным министерством народного просвещения. Следует радостное и торжественное открытие самарского университета. Далее — бесконечные столкновения самарского правительства с реакционным сибирским правительством, в реакционность которого сначала не хотели верить остальные товарищи по партии. Затем следуют: уфимский съезд и выбор директории; эвакуация Самары; переезд в Екатеринбург. Далее — арест директории и омский переворот Колчака; члены Учредительного Собрания арестуются в Екатеринбурге и высылаются сначала в Челябинск и затем в Уфу...

Несмотря на уговоры товарищей — не отделяться от арестованных, не оставаться в Екатеринбурге и не подвергать себя опасности быть убитым, Лазарев все-таки остается один в Екатеринбурге и

открыто проживает там с ведома коменданта города, чешского майора Блага. При посещении Екатеринбурга известным чешским генералом Штефаником, Лазарев открыто явился на его встречу и даже присутствовал при смотре войскам, который Штефаник произвел в Екатеринбурге.

Далее следует новый арест членов Учредительного Собрания в Уфе и перевоз их в омскую тюрьму... Затем — неудачная попытка большевистского восстания в Омске и массовый расстрел арестованных товарищей, членов Учредительного Собрания и их служебного персонала. Бешеное ликование по этому случаю разнузданной реакции... Повсеместный общественный кошмар... Лазарев присоединяется к чехам, и в феврале 1919 года, с эшелоном чешских инвалидов, пробирается во Владивосток. Три месяца медленного пути, в ужасных условиях того времени, посреди непрестанных тревог кровопролитной борьбы сибирских крестьян с белой реакцией, под руководством большевиков... Лазарев, наконец, благополучно добирается до Владивостока. Здесь он конфиденциально видится с представителями союзных держав и, в частности, с американским генералом Гревсом, который вел себя по отношению к русским совершенно безупречно. От них Лазарев узнал, что союзные правительства намереваются признать правительство Колчака. Лазарев решительно протестует и указывает, что признание это будет грубой дипломатической ошибкой, что оно — прямой результат непонимания того, что происходит в Сибири и Европейской России. Он предсказывает, что авантюра адмирала Колчака скоро кончится крахом. Генерал Гревс соглашался с доводами Лазарева, но заявил, что он — военный начальник и только исполняет инструкции своего правительства. Политика — дело федерального правительства.

Тогда Лазарев решает ехать в Америку, чтобы информировать правительство и общественное мнение великой заатлантической республики об истинном положении дел в Сибири и Европейской России.

Во Владивостоке Лазарев встречает старого знакомого, чешского генерала Чечека, и впервые знакомится с генеральным представителем чехословацкой республики, неизменным другом России, доктором В. Гирсой.

После омского переворота и последовавшего затем ареста и расстрела членов Учредительного Собрания, с одновременным расстрелом тысячи рабочих в Омске, начался по всей Сибири режим белокалильного террора, — кровавые подвиги генерала Иванова-Ринова и японцев на Дальнем Востоке. Судьба Колчака и белого режима предопределялись окончательно...

XII

В июле месяце 1919 года Лазарев с большой партией чешских инвалидов во второй раз в своей жизни переплывает Тихий океан, высаживаясь на этот раз не в Сан-Франциско, а в Сан-Диего, и после двухнедельной интересной стоянки в военном лагере близ этого города, по южной железной дороге через Нью-Мексико, Аризону, Нью-Орлеан, Южную Каролину и Джорджию попадает в Вашингтон. Здесь чешский эшелон представляется президенту Вильсону, только что вернувшемуся из Европы.

Вследствие ряда непредвиденных обстоятельств, Лазареву не удалось остаться в Америке, и он последовал с чешскими инвалидами в Европу, пересек Антлантический океан и через Брест приехал в Золотую Прагу, где и встречает свое восьмидесятилетие.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА

Для людей, меня знающих, давно не секрет, что я отличаюсь баснословным беспамятством. Имена самых близких мне людей или только что произнесенные имена быстро улетучиваются из моей памяти. Переданные по телефону имя, отчество и фамилию мне редко удается донести в целости до соседней комнаты.

И невольно напрашивается вопрос: как можно при таких качествах браться за писание своих «воспоминаний» о событиях, происходивших полвека тому назад и даже в более глубокие и незапамятные времена.

В оправдание своего поступка и в объяснение всего нижеписанного я должен сказать о своей другой особенности.

Оглядываясь назад, т. е. рассматривая перспективу своей прошедшей жизни, я представляю себе эту жизнь в форме длинной, предлинной стеклянной воронки, наполненной, как прозрачными зернами, неисчислимым количеством впечатлений, полученных в разные времена и в разных частях света от различных лиц, живых и мертвых предметов и целых событий. Широкий конец этой воронки обращен к моему умственному оку.

Чем ближе к глазу, тем многочисленнее и разнообразнее становятся впечатления. В широком конце воронки глаз уже не может охватить сразу всего поля зрения и подметить общую связь всех событий: внимание рассеивается, и вместо связной картины получается какой-то хаос.

Но зато, проникая в глубь жизненной воронки,

к узкому концу ее, взор останавливается на дне ее — на двух, трех или нескольких событиях, которые, не затемненные ничем, вырисовываются с необыкновенной яркостью. События далекого детства встают передо мной с такой ясностью, что, мне кажется, я становлюсь способным переживать и видеть то, что не дано переживать и видеть многим людям, обладающим богатой памятью.

Поэтому пусть читатель не удивляется, если я скажу, что я «помню» не только обстановку, но и момент моего рождения. Я помню, что я родился в барской бане на полке, — на том самом полке, где впоследствии мне столько раз приходилось мыться со своей матерью. Я помню, что эту баню одна добрая фея, пожелавшая быть моей крестной матерью, велела протопить с нарочитой целью — дать мне возможность в надлежащем тепле и с надлежащим комфортом провести первый день моего рождения. И действительно, в этих видах — лучшего, более уютного и более укромного уголка, по тем временам, нельзя было найти во всей окрестности.

Я, как сейчас, вижу свежую солому, разостланную на полке и покрытую какими-то самотканными одеяниями, — постель, на которой я впервые увидел Божий свет.

Я, как сейчас, слышу свой первый крик, похожий, по выражению моей матери, скорее «на рев взрослого ребенка, чем на писк новорожденного младенца». А в распознавании детских криков, как читатель увидит далее, мать моя была женщина весьма опытная: у ней было 17 детей.

Я помню также во всех подробностях, как я тонул дважды, будучи двух и трех-летним ребенком.

В первый раз я попробовал в погребе... Весной, после половодья, когда погреб до половины был наполнен водой от растаявшего снега, отец с ма-

терью сливали сусло на погребице. Отверстие в погребе было прикрыто только прутьями и наброшенной сверху соломой. Ползая и карабкаясь около ног отца, я самоуверенно ступил на солому и полетел вниз... Отец, услышав бульканье, обернулся и увидел... дыру. Моментально отбросил он солому и хворост и прыгнул вслед за мной. Я живо представляю себе, как он нащупал меня ногой на дне, как нырнул и поднял меня вверх, стоя сам по шею в воде. Я, как сейчас, слышу его крики: «Лестницу! лестницу!» Я слышу раздирающие крики прибежавшей матери. Я помню, как отец не хотел передать ей меня — из боязни, чтобы она сама не свалилась и не уронила меня снова. Я слышу, как прибежал на помощь неизвестный мужчина, который и принял от отца закоченевшее тельце маленького негодяя.

Я помню далее, как в возрасте трех-четырех лет, купаясь в пруду, близ водяной мельницы, с более взрослым товарищем, Петькой Зиновьевым, я, уже одевшись, влез на дальний конец длинной и широкой скамейки, служившей местом для полосканья белья, и там, поскользнувшись, свалился в воду. Я, как сейчас, вижу, как течением воды несет какое-то темное пятно к знакомому каузу; как Петька побежал к помольной избе и, встретив пасечника и перепелятника Лукьяна, сказал ему о том, что я «плыву» в пруду. Я, как сейчас, вижу доброго Лукьяна, с черной бородой, летящим к пруду с быстротой стрелы: вот он заметил маленького «пловца», сделал страшный скачок на перерез моему ходу и, борясь с сильным течением близ входа в кауз, схватил меня одной рукой за рубашку, с трудом подплыл к берегу и подал мокрого пловца в руки обезумевшей матери.

Все помню, до мельчайших подробностей. Помню спасителя моего, доброго Лукьяна, который потом

не раз кормил меня сотовым медом, поставляя перепелок, которых он искусно ловил сетью, исключительно для барского стола. Помню ту скамейку, с которой я сорвался и на которой впоследствии снова играл столько раз.

Читатель непременно подумает, что я знаю все эти подробности благодаря множеству свидетелей, которые, сотни раз повторяя мне на разные лады свои рассказы об этих событиях, внушили мне ложное убеждение, что я слышал и видел то, что ни один смертный ни слышать, ни видеть не может.

Быть может, это и правда... Даже наверное — правда. Я слышал о многом сотни раз уже в зрелом и даже пожилом возрасте при каждой встрече с друзьями и товарищами раннего детства. Я выслушивал от них терпеливо и с затаенной радостью всякую мелочь из их воспоминаний и напоминаний о давно прошедших временах. Передо мной встают, как живые, образы людей и целые картины событий, иногда имевших место до моего появления на свет, но совершившихся в близко знакомой мне обстановке. Эти образы и эти картины встают передо мной с такой ясностью, что часто трудно разобрать, что я знаю лично и что — по рассказам.

После этих оговорок читатель пусть не удивится, если я перенесу его прямо в давнопрошедшие времена.

I

КРЕПОСТНОЕ СЕЛО

В каком году — рассчитывай, в какой стране — угадывай, в одной степной губернии, при столбовой дороженьке, по берегам реченки крохотной стоит себе, раскинулось именье господ Карповых, огромное, богатое село Успенское-Грачевка тож.

Всякий, видевший современную Грачевку, из

дальнейшего описания убедится, что здесь идет речь о Грачевке древнейших времен.

Некогда широкие, светлые и чистые улицы этого обширного села теперь испакощены, обезображены целым рядом глубоких ям с земляными насыпями, напоминающими муравьиные кучи, — где жители Грачевки укрываются от летней жары и круглый год старательно гноят свое платье и всякую домашнюю рухлядь — в надежде, хотя бы в прелом виде, спасти ее от огня...[1])

Веселая, красивая улица прежней Грачевки, расставленная на всю ширину прежней скотопрогонной дороги, пересекала через реку обе стороны села. По ней проходили из киргизских степей непрерывной вереницей огромные стада рогатого скота и гурты баранов-курдюков.

Правый порядок входной улицы, далеко не доходя до реки, поворачивал направо под прямым углом чуть не на версту, образуя обширную и длинную площадь, разделенную старой церковью с деревянной оградой на две квадратные части: на площадь крестьянскую и площадь барскую. На последней когда-то стояла только одна барская каменная кузница с жилым помещением для семьи кузнеца.

Недалеко от церкви, через дорогу к реке, был палисадник с большими деревьями, через верхушки которых виднелась крыша барского дома.

Как и в настоящее время, при беглом взгляде на село с его избами и соломенными крышами, оно походило на стадо овец, которые кажутся все похожими одна на другую. Но при внимательном обзоре здесь можно было видеть все разнообразие типов, свойственных и самому человеческому роду. Тут были избы старые и молодые, только что наро-

---

[1]) К счастью, во время революции ямы уничтожили, и улица вновь очищена. Я рад был видеть это в 1917 году.

дившиеся и от ветхости на половину ушедшие уже в землю. Были бойкие и веселые, с задорно вздернутыми кверху коньками, и были хмурые, низенькие и неуклюжие. Были двуглазые и кривые, — одноглазые циклопы; зрячие и подслеповатые, с оконными звеньями из дощечек и животного пузыря.

У каждой избы, — под коньком, у слухового окна или на длинной жерди, на одном из столбов на воротах, — неизменно виднелась деревянная скворечница. На тех же столбах — чего уж нет теперь — столь же неизменно стояли снопы длинного, белого и пушистого ковыля, — верный признак обилия девственной земли, степной целины.

Новое обстоятельство должно было поразить глаз современного нам человека: на крышах изб совсем не было видно труб...

Проникнув через калитку или ворота внутрь обнесенного плетнем двора, мы, как и в настоящее время, увидим покрытый соломою навес, под которым находится колода для корма лошадей; далее идут хлевы и сенцы с крыльцом или без крыльца, но всегда с крытым навесом.

При входе в самую избу своеобразный образ жизни прежних крестьян обнаруживался с полной ясностью. Нос тотчас же узнавал специальный запах «копченой» избы. Избы были «курные». Труб для отвода дыма из печи наружу — не полагалось. Такие трубы считались барской и басурманской затеей. В истинно-русской избе дым из печного чела должен был валить прямо вверх к потолку, наполняя собой всю избу, чуть не до самого пола, и выходить в отворенную дверь (а летом — и в окна) наружу. Так было летом, так было и зимой. Вследствие этого, по утрам, во время топки печи, обитатели этих жилищ ходили обыкновенно согнувшись, со слезами на глазах; кряхтели, пыхтели и откаш-

ливались, глотая время от времени чистый воздух близ самого пола.

По тем же причинам обитатели курных изб во время топки печей узнавали друг друга больше по ногам, а не по лицу, как это вошло в моду в позднейшие времена.

Курные избы, в отличие от трубных, коптились и внутри и снаружи, и потому самими жителями назывались «черными» — в пику трубным, которые назывались «белыми». Так и говорилось тогда: «топить по белому», «топить по черному».

Истинно-русская черная изба искони веков была снабжена крупными, толстыми и жирными «черными» тараканами, тогда как в белой избе водились преимущественно привезенные из чужих земель, вместе с белыми трубами, тонкие, поджарые и рыжие тараканы, которых и называли в отличие от истинно-русских — прусаками.

Черная изба к большим праздникам обыкновенно мылась и скоблилась «косырем» вся целиком: пол, стены и потолок.

II

В КУРНОЙ ИЗБЕ

В те отдаленные времена обитателям этих изб приходилось разрешать очень сложный жилищный вопрос: как разместить в одной избе все семейное население?

Чтобы понять сложность задачи, нужно заметить, что в прежние времена главы семейств ухитрялись нередко доживать до ста лет, т. е. жить целый «век». От прежних людей к нам и выражение дошло: «прожить свой век». Два, три, а то и четыре сына такого главы семейства, в возрасте от 50 до 70 лет, жили со своим потомством под началом старика-отца

— вместе, под одной крышей. Несвоевременных разделов тогда не полагалось. Спрашивается: как, при таких условиях, разместить огромную артель с грудными младенцами в одной избе?

Летом этот вопрос не представлял особых трудностей: люди спали в сенях, в хлевах, на дворе и на поветях под открытым небом. Но зимой?... когда к двуногому населению приобщалось население четвероногое, — телята и ягнята, к которым по утрам и вечерам приходили их матери покормить молоком?

Коровы-новотелы морозной зимой по утрам сами приходили в избу доиться, протискиваясь сквозь узкие сенные и избные двери с бесцеремонностью исконных членов семьи.

В силу таких условий и выработался особый тип великорусской избы. Значительная часть ее занята печкой с рядом боковых «печурок», или широких нор, для сушки варег, рукавиц и т. п. мелочи. На печке сушится остальная одежда и обувь: чулки, лапти, валенки и проч. На печке же помещаются и греются старики и дети. В самой печке хранится огонь и сохнут березовые поленья на лучину и сама лучина.

Прямо у двери, в противоположном от печки углу, помещается «конник», или «кутник», — род нар. Дальше по стенам идут кругом избы широкие лавки. Большой стол в переднем углу, а также лохань и «светец» — являлись необходимыми принадлежностями каждой избы. Остается пол, который и делится по-семейному с телятами и ягнятами.

И вот именно для увеличения спальной поверхности и изобретены русские «палати». Это — своего рода второй этаж, мезонин, верхние палаты, «горница». Они тянутся на половине избы от самой печки и до противоположной стены.

Если к этой мебели прибавить, по временам,

необходимый для каждой семьи стан для тканья всяких материй, мы будем иметь более или менее полное представление о замечательной способности прежних людей обходить закон непроницаемости, а также и о том, почему, пережив детский возраст, они доживали до Мафусаиловых лет.

А в зимние долгие ночи!.. Когда на дворе воет вьюга, когда и двор, и сама изба до самой крыши заносится снегом!.. Время — далеко за полночь... Не пели еще первые петухи, а старику и старухе не спится. Старуха встает, спускается с печки, открывает заслон, достает из печки тлеющий уголь и, прижав его кончиком тонкой лучинки, искусно «вздувает» огонь.

С привычным брюзжаньем поднимает она всех остальных баб и девок, садится сама и усаживает их за пряжу. У каждой свое «донце», свой гребень, своя чесальная гребенка и щетка, своя куделя, свои «мочки».

И кружатся первобытные веретена под опытными пальцами русской крестьянки, пухнут, толстеют они от навернутой пряжи, которая потом превращается в длинные мотки, мотки идут на цевки, цевки — в челнок, а с челнока пряжа превращалась в разного рода ткани, которыми и одевала и обувала всю страну русская крестьянская женщина...

Под вой этой снежной вьюги, под жужжанье этих веретен, под постоянное брюзжанье стариков, при мигающем свете лучины и создалась в этой курной избе, главным образом — молодою русской женщиной, эта «песня, подобная стону»...

Говорят: небогата по своему содержанию великорусская песня!... однообразна она!...

Еще бы!... Откуда было взять русской песне сложное и разнообразное содержание при такой жизненной обстановке?

Но зато мотивы, вливавшие душу в эти бедные слова, лились из самой глубины наболевшего сердца!...

Сколько раз в детстве мне самому приходилось наблюдать такую картину:

Посредине избы, на деревянном обрубке, сидит отец, «плетет» или «ковыряет» лапти, а мать и две «невестки», жены моих старших братьев, сидят на лавках, при свете лучины, и поют все четверо:

«Не одна-то во поле дороженька пролегала,
«Не одна-то во сыром бору кукушечка куковала»...

Или:

«Я не думала ни о чем в свете тужить,
«Пришло времячко, начало мое сердце крушить.
«Со вздыханьица сердечку стало тяжело»...

Или:

«Потеряла я колечко, потерала я любовь,
«Что по этому колечку буду плакать день и ночь»...

Или:

«Ох, вы ночи темные, осенние!
«Все я ноченьки, млада, просидела»...

Эти песни — стоны девушки или молодой русской женщины-крестьянки.

III

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Только ознакомившись с курной избой и с положением ее обитателей, станет понятнее — почему, вырвавшись из душной курной избы на улицу, на широкую площадь, на простор полей и лугов, все накопившиеся и подавленные муки молодой России переходили в свою противоположность и разреша-

лись взрывом бурного веселья, — удалой, бесшабашной песнью или ухарской, залихватской пляской!

Понятнее станет и высокое, чарующее и поэтическое значение всех древних «языческих» праздников, переодетых в христианские рубища. Понятно ожидание крестьянской молодежью прихода Ивана Купалы и Яра, — красной весны и красного лета, когда можно быть на просторе полей, вне гнетущего надзора со стороны семейных патриархов.

И нужно сознаться: в современной крестьянской молодежи нет уже того бурного веселья ни в песнях, ни в танцах, — какое проявлялось в былые времена.

Культура и цивилизация, приютившись в определенных слоях общества, конечно, опережают в своем росте самостоятельное народное творчество и привносят теперь со стороны в народную массу все новые и новые, как положительные, так и отрицательные элементы. В былые же времена каждый должен был сам, если не творить, то принимать живое участие в коллективном творчестве.

И при помощи каких скромных средств осуществлялось тогда это бурное веселье и коллективное творчество.

В отличие от тоскливых песен одиноких «кукушечек» и «сиротинок», веселые песни требовали хора, соединения многих голосов, жизни на миру. А танцы, в свою очередь, требовали хоровода. — И теперь нет и кажется не будет больше прежних хороводов!...

После человеческого голоса, музыкальное творчество осуществлялось — из струнных инструментов — только самодельной балалайкой. Про гармонику в те времена и помину не было.

Из духовых инструментов были известны только свирель и тростяные дудки, которые подбирались парами и для усиления резонанса вставлялись сво-

бодными концами в узкий конец коровьего или бычачьего рога, игравшего роль рупора. Требовалось великое искусство или, скорее, египетское терпение, чтобы подобрать трости надлежащей толщины и нарезать пару «язычков» и четыре пары «ладов» одинаковой музыкальной высоты, — и все это сделать при помощи простого ножа и русского глазомера.

Как ни скромны были эти музыкальные инструменты, — балалайка, свирель и дудки, — но среди балалаечников и дударей появлялись свои доморощенные Тарсеи и Пиндары, которые пользовались на селе громкой славой и всеобщим почетом.

IV

НА БАРСКОМ ДВОРЕ

С древнейших времен село Грачевка составляла имение господ Карповых. Сначала оно стояло на три версты ближе к теперешней станции Грачевка, Ташкентской железной дороги, приблизительно на версту от нея, где до позднейших времен стояла маленькая деревянная часовня. После большого пожара и за недостатком воды все село перенесли на три версты ниже, расположив его по обе стороны речонки Грачевки.

Когда-то два брата Карповых после смерти своего отца поделили между собой и крестьян и землю на две равные части, проведя грань по речке Грачевке. Та сторона, где стояла Успенская церковь, в отличие от другой стала называться «Успенское-Грачевка-тож», а другая, «заречная» сторона удержала старое имя — просто Грачевка. Но в глазах беспристрастного географа та и другая сторона всегда составляли одно село, просто Грачевку.

Тем не менее, с тех пор в этом селе существовало

два отдельных имения, два отдельных общества, два отдельных барина и два отдельных барских двора. В данном случае предметом нашего повествования будет барский двор в селе Успенском-Грачевка-тож.

Барский двор начинался тотчас же за церковной оградой, которая отделялась от барского палисадника только одной дорогой. Угол двора начинался длинным деревянным флигелем на высоком каменном фундаменте. В этом флигеле была кухня с поварами, контора с конторщиками и приказчиком и некоторые другие почетные службы. Вход во флигель был только со двора.

За флигелем вели во двор широкие ворота с аркой, за которыми следовала длинная решетчатая изгородь, посаженная на довольно высоком каменном фундаменте. Высокая решетка была заключена в ряд высоких круглых каменных столбов с посаженными на их верхушках разноцветными шарами.

С другого конца решетка упиралась в угол каменного сарая, за которым шли скотный двор, огород и небольшой порядок из изб, где жили семьи дворовых людей.

При входе в ворота глазам открывался обширный двор, ограниченный с правой стороны длинным каменным сараем — для конюшен, погребов, кладовых и проч. Далее — ход на птичий и скотный дворы и калитка в большой сад с оранжереями, расположенный вдоль запруженной реченки.

Налево, на некотором расстоянии от флигеля, стоял большой двухъэтажный дом с двумя отдельными половинами и двумя отдельными крыльцами.

«Крыльцо», «конюшня», «приказчик», «девичья», «лакейская», «людская» — какие это банальные и ничего не говорящие теперь ни сердцу, ни уму — слова!... И наоборот, — какой глубокий смысл вкладывало в них крепостное человечество!...

К р ы л ь ц о — это лобное место, трибуна, где совершалось крепостное правосудие, где творился суд и постановлялись безапеляционные решения нелицеприятным судьей в лице всевластного, самодержавного помещика! Он имел силу карать и миловать; в тяжких случаях — ссылать в Сибирь и отдавать без очереди в солдаты; в менее важных делах — расправляться домашними средствами, сечь розгами и бить батогами.

К о н ю ш н я была местом, где приговоры приводились в исполнение. «Сечение» или «порка» были разных степеней: просто «выпороть», «спустить две, три, четыре и до семи шкур»... Некоторые из дворовых оставляли по себе громкую память в потомстве, благодаря их утонченному искусству «писать на задах».

П р и к а з ч и к, б у р м и с т р, очень часто рисовался в воображении подданного населения чем-то вроде Малюты Скуратова, при чем многие дворовые играли нередко роль опричников.

Л ю д с к а я, д е в и ч ь я, л а к е й с к а я, в сопоставлении с «скотным» и «птичьим» дворами, означали помещения, где содержался двуногий скот, в отличие от скота четвероногого и пернатой твари.

С е н н ы е и г о р н и ч н ы е девушки являлись прямым пережитком и продолжением татарско-гаремной жизни русской женщины в боярской Руси, с ее «затворами», «теремами» или тюрьмами.

Только теперь сенные и горничные девушки часто набирались по вкусу не боярышен, а «молодых господ».

П р а в а п е р в о й н о ч и юридически не существовало, но фактически оно проявлялось в не менее постыдных формах. Помещик имел власть отдавать замуж и женить своих крепостных по своему произволу — за кого и на ком ему угодно.

Часто случалось, что при несогласии родителей

выдать свою дочь за того или другого жениха, родители последнего прибегали к покровительству эконома, приказчика, конторщика, повара, Фильки-трубача или какого-нибудь другого приближенного лица, и те, пользуясь благоприятной минутой и добрым расположением барина, выхлопатывали барскую милость для своих любимцев, родных или знакомых. И покровители и покровительствуемые, добившись барской милости, не видели ничего предосудительного в том, что они тащат силком в чужую семью девушку, которая любит другого и всей душой ненавидит всех членов навязанной новой семьи.

V

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Таковы были нравы людей того времени. Рабство одних и произвол других в одинаковой степени развращали обе стороны.

Система неограниченного произвола охватила сверху до низу весь строй государственной, общественной и семейной жизни. Самодержавие в государственном правлении, самодержавие в управлении поместном, самодержавие и в недрах каждой семьи.

И Меньшиков недаром и не зря в «Новом Времени» писал, что неограниченная власть не есть власть твердая. «Неограниченная власть сродни анархии, самовластие и самоволие — синонимы».

Родители — своих детей и мужья — своих жен считали также своей собственностью, которою могли распоряжаться по своему усмотрению, — если только их произвол случайно не ограничивался произволом высшего порядка. Родители могли бить и калечить своих детей, мужья — своих жен, и что всего ужаснее — малейший протест со стороны жертвы рассматривался палачами и нередко самими

жертвами, как преступное возмущение и даже кощунство!

Родители не спрашивали своих детей, за кого они хотят выходить замуж или на ком хотят жениться. Они одни, за кружкой пива или полоща вместе белье на речке, столковывались между собой и решали на всю жизнь судьбу своих детей.

Конечно, во многих случаях родители предоставляли слово и даже свободу выбора своим детям, но при системе повсеместного и перекрестного произвола случаи совершенно «счастливых браков» были чрезвычайно редки. В значительной степени это обусловливалось еще тем обстоятельством, что молодых людей женили и выдавали замуж тогда очень рано, чуть не в детском возрасте, когда надежного критерия при выборе себе пары нельзя еще найти даже в половом чувстве.

И старики-отцы и матери, при всякой попытке со стороны детей самим сделать выбор, искренно и добросовестно возмущались, говоря: как можно допустить, чтобы глупая неопытная девченка или такой же мальчишка решали сами такое важное дело, как выбор мужа и новой семьи?!..

VI

СЧАСТЛИВАЯ ПАРОЧКА

Но говорят, что и в самом аду бывают счастливые исключения. Нашлось счастливое исключение и в селе Успенском-Грачевка-тож.

У степенного мужика Лазаря и его жены Настасьи оставался последний неженатый сын Егорка. Егорка был, как говорится, «парень золотые руки»: что косить, что жать, что за скотиной ходить — на все расторопный.

Будучи среднего роста, Егорка отличался боль-

шой физической силой и необыкновенной ловкостью. В обычной борьбе он никаких силачей не боялся.

Кроме вышеуказанных добродетелей, он славился и еще одним выдающимся качеством: он был превосходный игрок в рожок на дудках. Он так ловко «ладил», что под его игру всем легче было и петь, и плясать, и хороводы водить.

В том же селе и по соседству жил другой степенный мужик, Тимофей Панфилов, со своей женой Ульяной. У них тоже была соответствующая дочка Палашка. Хотя ей не было еще и шестнадцати лет, но она уже считалась очередной невестой.

— А то, что она ростом мала, так, ведь, мал золотник, да дорог, — говорили ее родители.

И действительно, Палашка охулки на руку не клала: на всякую работу у нее был «глаз завидущий», что жать, что снопы вязать, а то и хороводы водить — на все мастерица! На барщине она всегда в числе первых кончала свою урочную «делянку». А на улице — петь, плясать да хороводы водить — ее нечего просить: везде запевалой, везде коноводом!

Все парни и девки на селе давно, конечно, знали, что Егорка с Палашкой во всех играх вместе водятся, и все бабы на селе доподлинно знали, к кому этой осенью Лазарь сватов будет засылать.

Между родителями этой счастливой пары царило полное согласие, и у них было уже решено этой осенью свадьбу играть. Настасья и Ульяна друг дружку в шутку даже «сватьей» называли. Они не раз уже сходились и уговаривались, когда сватов засылать, мед и брагу варить, — к свадьбе готовиться.

Правда, набегали тучки, перепадали пасмурные денечки, когда разносился по селу слух, что кривой урод Никашка-лесник (Никанор Коношкин) за Палашку хочет свататься, и что об этом он через

экономку, свою родственницу, самого «старого барина» просить хочет.

Сходились Егорка с Палашкой, тревожно шептались о чем-то, но скоро все снова успокаивалось.

Ульяна на все село нарочно кричала:

— Пусть он лучше и не думает, косоротый чорт!.. Не дам я ему мое дите, мою кровь загубить!..

Сам Тимофей выражался не столь красноречиво, но был не менее жены против «криворотого зятя».

Одно время дело как будто немного осложнилось, когда до барского двора дошла слава о разбитном Егорке: его прикомандировали к барской конюшне в помощь конюху и кучеру. Все дни ему пришлось проводить на барском дворе.

Не хотелось Егорке уходить из села и служить на барской конюшне. Но Палашка втайне мечтала уже, что Егорку могут совсем в дворовые переписать, и тогда... тогда он может носить в одном ухе серебряную серьгу, — верный признак породистой дворовой аристократии.

Но к новому положению мало-по-малу стали привыкать уже все, и к предстоящей осенью свадьбе обе стороны готовились попрежнему.

Замолкли Егоркины дудки на селе. Но тем чаще стали раздаваться они на барском дворе.

VII

СТАРЫЙ БАРИН

Благодатный год! Хлеба уродились на славу. Лето выдалось хорошее, — весь хлеб сняли, свезли и сложили во-время. И на барском и на крестьянских гумнах с хлебом деваться некуда! У многих крестьян в запасе еще старые, двух и трех-годовые копны стоят. Есть с чем зиму встретить! Есть с чем

свадьбы играть! Радуется сердце крестьянское! Радуется и сам старый барин.

— Размяк, — говорят про него дворовые, — добрее стал.

В одно солнечное утро на барском дворе кипела особенно оживленная работа. Запасались всем на зиму: рубили и солили капусту, арбузы, грибы; шла чистка скотного и птичьего двора. Девки и бабы с тяпками, с ведрами и коромыслами через плечо то и дело сновали по всему барскому двору.

Среди девок была на работе и Палашка. Она пользовалась всяким удобным и неудобным случаем, чтобы пробежать мимо барской конюшни, откуда время от времени доносились звуки Егоркиных дудок.

Их встречи и разговоры были очень кратки. Они сходились не для переговоров, а только так, посмотреть... Палашка, подходя к конюшне и заметив Егорку, нарочно отворачивалась от него и ускоряла шаг, как-будто шла по очень спешному делу и смотреть по сторонам ей некогда...

Егорка отлично изучил эту стратегию и потому как раз во-время ее окликивал.

— Паланька!.. Паланька!.. Чего бежишь... Постой маленько.

— Экономка ругаться будет, — отвечает Палашка, останавливаясь, как вкопанная.

— А ну ее!.. Пусть!.. А дудки слышно?

— Знамо, слышно... Вечером и на селе слышно... когда играешь.

— Вон что!.. Ладно. Забегай когда...

— Знамо.

И они расходились.

— . —

Но вот на крыльцо барского дома вынесли кресло, предвестник появления самого старого барина.

И действительно, немного погодя из широкой, подъездной двери показалась огромная фарфоровая трубка с длиннейшим черешневым чубучищем, который тащил за собой маленького худощавого Фильку, бритого и пожилого лакея, специально заведывавшего трубочно-табачным департаментом.

Многим теперь может показаться, что должность «трубача» — совсем несложная и доступна всякому смертному. Но если вспомнить, что дело идет о доисторических временах, когда спички считались диковинной редкостью, когда для приготовления их посредством макания лучинок в какое-то снадобье требовалась целая наука, при чем все-таки эти спички охотнее загорались от тлеющего уголька; когда в гостиных барских домов господствовали трут и огниво, — то ясно, что держать в достаточном количестве необходимые горючие материалы было дело вовсе не такое легкое. Нужно было набрать в лесу на деревьях трутовиков, выбрать из них наилучшие сорта, нужно было умело их вываривать в каком-то особом снадобье, нужно надлежащим образом просушивать, чтобы после тщательной обработки получать «искрометный» трут, загорающийся при малейшей искре. Кроме трута нужно иметь достаточный запас кремней и огнив. Нужно уметь быстро высекать огонь и помогать барину раскуривать трубку. Барское дело было — только сосать янтарный конец чубука; дело Фильки — развести и направить свой огонь на огромную и ненасытную пасть фарфоровой трубки и при том запалить ее так, чтобы она пожирала табак ровно по всей окружности своей пасти. За этим приходилось следить очень внимательно; в противном случае фарфоровая трубка имела скверную привычку иногда подскакивать и тыкать Фильку либо в живот, либо в грудь, а то и выше.

— . —

Вслед за Филькой показался сам старый барин, — небольшого роста, бритый, но с усами, пожилой уже человек.

По обыкновению он был в толстом халате, слабо подпоясанном толстым жгутообразным поясом с длинными кистями по концам.

Усевшись в кресло, он, не глядя на Фильку, протянул правую руку, и моментально янтарный конец чубука, описав дугу, воткнулся в пухлые губы барина.

Еще минута — и изо рта барина и из пасти трубки понеслись густые облака дыма.

— . —

Недалеко от крыльца стояла группа крестьян в ожидании выхода барина.

Первым, сняв шапку, подошел к крыльцу, прихрамывая, худощавый молодой крестьянин некрасивой наружности, но опрятно и даже щеголевато одетый. Он держал в руках убитого дикого гуся.

Подойдя к крыльцу, он остановился и поклонился.

— Что скажешь, Никанор? — спросил барин.

— Да вот вашей милости гуська принес... Подстрелить удалось... Пролетом, знать...

— Покажи...

Никанор поднялся на несколько ступенек и передал гуся Фильке.

— Ого... тяжелый... сытый гусь... Снесешь на кухню, — сказал барин Фильке, осмотрев тщательно гуся.

Барин хорошо понимал, что гусь — только присказка, и что сказка будет впереди.

— Тебе чего надо?.. — обратился с вопросом барин.

— До вашей милости пришел. Дело такое... Окромя вас мне некуда кинуться...

— В чем дело?

— Жениться, барин, хочу.

— Вона!.. чего захотел!.. Впрочем, давно бы пора... За чем же дело стало?

— Только за вами, барин.

— Вона!.. Ты что же, разве на мне жениться хочешь? — засмеялся барин.

— Вы сами знаете, — мне на отшибе жить приходится... Мало охотников за меня девок отдавать. Так что же?.. Неужели, барин, так всю жизнь мне и суждено одиноким свою службу вам нести?..

— Кого же ты сватать хочешь?

— Палашку Тимофееву хочу.

— Вона!.. Попал в гусыню!.. Губа-то не дура!.. Да, помню теперь... Говорили мне... Только, ведь, она еще молода, ребенок совсем...

— Что за молода... Этой осенью все равно отдавать хотят.

— Тимофей противиться будет... — заметил барин.

— Что же, барин, разве я вашей милости не такой же слуга? Разве я не служу вам верой и правдой. Им хорошо говорить!... Мне, ведь, не для забав, а тоже хозяйство содержать надо. Ведь, вы у нас — хозяин всему. К кому же мне еще обращаться?

Дерзкие слова холопа очень понравились старому барину, и он с милостивой шуткой сказал:

— Ну, ну, не сердись, Никанор. Посылай сватов. Я за тебя словечко замолвлю.

Никанор пал перед барином на колени и, крестясь, проговорил:

— Весь век за вашу милость буду Бога молить... Ваше слово мне дороже всего.

Потом встал, поклонился и тотчас же совсем ушел со двора.

Вслед за ним стали подходить другие проси-

тели, которые были молчаливыми свидетелями происшедшей сцены.

И вот, по всему двору быстро облетела весть:

— Никашка Палашку у барина выпросил!..

VIII

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

Осенью этого года было сыграно особенно много свадеб.

В числе прочих сыграли скромную свадьбу Никанора Коношкина, женившегося на Палашке Тимофеевой.

В том селе, о котором идет речь, до сих пор существует обычай, чтобы только что просватанная девушка-невеста всякого пришедшего в ее дом близкого родственника встречала горьким плачем с причитаниями. Это называется — «голосить». Обливаясь слезами, она просит дорогого дядюшку или дорогую тетеньку пожалеть ее, несчастную, и не отдавать в чужедальную сторонушку из своей родной семьи, от родимого батюшки, от родимой матушки, от ясных соколов и сизокрылых горлиц — братьев и сестер...

Все это делается теперь больше формально, по обычаю. Но в те времена девушки-невесты имели все резоны называть свои слезы «горькими» и «горючими».

Осталось предание, что Палашка, выполняя этот древний обычай, превзошла самое себя и делала настоящие чудеса. Все ее близкие родственники действительно рыдали навзрыд при ее образцовых причитаниях.

— Палашка — мастерица «голосить»!.. — одобрительно говорили старики.

—.—

Егорка не захотел жениться этой осенью. Он сломал свои дудки...

Пришла еще осень — Егорка опять не женился.

Через полтора года после женитьбы Никашка умер бездетным, и Палашка осталась вдовой.

Егорка снова наладил свои дудки и вскоре женился на молодой вдове.

— Ведь, вот, недаром говорится: суженого-то и на коне не объедешь, — говорил старый барин, говорила экономка, говорили старики.

Эта молодая вдова Палашка и была моя мать, а счастливый Егорка был мой отец.

IX

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Но вот подкрались другие времена, и пришли другие люди, а вместе с ними и другие мысли, другие чувства, другие настроения.

— Все изменилось к худшему! — говорили старики. — Ослаб народ!.. Прежде и люди жили дольше, и стариков было больше, и больше их слушались. А ныне своего собственного сына, как следует, поучить нельзя. Ты его только норовишь за волосянку взять, — а он, вместо того, чтобы пасть пластом родителю в ноги, да на спине руки сложить, да прощенья просить, как в наши-то времена водилось, — а он, вместо того, норовит еще вывернуться, да через плетень, да на огород, в коноплю али в поле... А не подумает того, глупец: ну, куда он от родительской-то власти убежит?!..

— Вон, Васька Казачек — тоже думал от барского гнева уйти... Совсем сбежал. На Урал пробрался... Сколько лет с казаками жил. К богатой казачке в дом, было, вошел... А под конец все-таки не выдержал. Тоска обуяла, — по родным местам,

по семейным, соскучился. Сколь ни удерживали, сколь ни уговаривали его остаться, — не мог пересилить тоски. Горючими слезами казачка обливалась, его провожаючи; вся станица жалела его. А вот, нет же... родная-то кровь сказалась... перетянула к себе. Вернулся. Ну, известно... Чему быть, тому не миновать... Получил, что полагается. Барин все-таки пожалел его, только выпороть приказал при всех и на площади, чтобы другим не повадно было. — А вот теперь живет же мужик, за милую душу...

— Да и то сказать, — какая ныне порка пошла!.. Разве наших-то отцов так пороли?!. По семи шкур, бывало, спускали, да и то словечка не молвили... Зато и народ крепкий выходил! А теперь-то что?..

Да, многое изменилось.

Внешний вид огромного села остался прежний, но внутренность жилищ и даже самые жилища заметно изменились. Избы, вместо прежних неуклюжих, стали как-то легковеснее и даже легкомысленнее, с претензией на кокетство. То там, то сям виднелись створчатые окна с резными карнизами и раскрашенными ставнями. Правда, жидкие пучки пушистого ковыля все реже и реже попадались на столбах ворот, но зато внутренность большинства изб приняла совершенно иной облик. Старые курные избы стали заменяться трубными, белыми избами, и одновременно с этим жирные черные тараканы-русаки стали вытесняться сухопарыми рыжими прусаками, которые плодились и размножались, как песок морской.

Правда, попрежнему, время от времени, люди сожительствовали с телятами и ягнятами, попрежнему смело и бесцеремонно врывались в избу по зимам коровы и овцы, но в самой избе все же словно проглянуло какое-то особое солнышко: не стало прежнего мрака и копоти, не нужно было больше

мыть и отскабливать стен и потолков к каждому празднику. В белой избе стали появляться кое-где, рядом с образницею, лубочные картинки, изображавшие какого-нибудь синего или зеленого генерала с саблей наголо, верхом на коне, между ног и под копытами которого движутся целые полки.

Стали изменяться и костюмы. Попрежнему расхаживали по деревням разные мастеровые люди: бродячие шерстобиты со своими однострунными инструментами; красильщики и набойщики с их вечно синими ручищами; швецы, шившие по домам кафтаны из самодельного сукна и полушубки из самодельных овчин. Но вместе с тем, среди молодежи все чаще и чаще начинают по праздникам появляться кумачевые и ситцевые рубахи, а у девиц «александринские» сарафаны; вместо малахаев стали носить высокие войлочные шляпы и картузы; плисовые штаны вместо самотканных портков; сапоги с бураками вместо классических лаптей. Рядом с этим и онучи стали заменяться чулками и носками.

Рядом с дудками и балалайкою послышалась гармоника.

X

МОЛОДОЙ БАРИН

Изменились и люди.

— Полиняли теперь господа, — говорили старики.

И, действительно, вместо грозного старого барина, Петра Алексеевича, пошли дети его более мелкого калибра. Старший, Вадим, родился, кажется, раньше своего времени, ибо обещал быть скромным, образованным и гуманным человеком, и потому, вероятно, земля не сдержала его и поглотила в ранней молодости. Туда же за ним последовали — уже по другим поводам — и два следую-

щие брата, — беспутный Конкордий и дикий Африкан (а, может быть, наоборот: дикий Конкордий и беспутный Африкан), память о которых дошла до позднейших поколений в виде рассказов о том, как, за недостатком охоты на зверей, эти «юные птенцы гнезда Петрова», с шайкой дворовых, время от времени, устраивали охоту на баб и девок, ходивших артелями в лес по ягоды или по грибы.

Таким образом, поддерживать честь рода Карповых остались на земле Серафима и Александр Петровичи. После смерти отца поделили они между собою и земли, и крестьян, и дом с двумя половинами и двумя отдельными крыльцами, откуда и стали править подчиненным им человечеством на общем дворе.

Да простят меня все Серафимы на свете, если я, несмотря на всю сладость этого имени, в дальнейшем обойду его молчанием, ибо судьбе угодно было, чтобы мои родители со всем своим потомством, при разделе движимого имущества, перешли в собственность младшего и последнего сына, Александра.

Александр Петрович был последним представителем крепостного режима. Ему суждено было присутствовать при похоронах этого режима и вместе с тем перенести на себе всю тяжесть переходного времени, когда

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим по мужику.

Он был по натуре простой и очень добрый человек. Науками себя не обременял, звезд с неба не хватал, к географии и грамматике относился скептически, но в случае крайности писал довольно разборчивым почерком. При своей доброте, он был

человек совершенно бесхарактерный, подчинявшийся воле, советам или наговорам случайных людей или случайных фаворитов. При таких условиях судьба крепостного человечества очень часто зависела от воли и настроения приказчика, конторщика, кучера, ключницы или экономки. Каждый из этих придворных тузов, имея за собой определенный круг родственников и приверженцев на селе, нередко становился во главе особой политической партии в борьбе за власть.

Господарство Александра Петровича, последовавшее за строгим режимом его отца, во многом напоминает царствование Феодора Иоанновича. Молодой барин был вспыльчив, но отходчив; часто кричал, ругался и топал ногами, но никто его не боялся. В довершение его характеристики нужно сказать, что он женился на своей крепостной девушке, простой, безграмотной крестьянке, Марье Максимовне Ковлягиной, дедушка которой, по сказанию стариков, был одним из тех самых удальцов, которые в свое время ходили к Емельяну Пугачеву на своего барина жаловаться.

Эта барыня-крестьянка и осчастливила меня, согласившись быть моей крестной матерью.

XI

ОТЕЦ И МАТЬ

Изменилась и судьба моих родителей. Отец из Егорки, — Лазарева парня, — стал Егором Лазаревым, а мать из Палашки превратилась в целую Пелагею.

Превращение Егорки в Егора и Палашки в Пелагею совершилось, конечно, не сразу, а постепенно и благодаря целому ряду отцовских подвигов, о которых здесь говорить нет места. Нужно заметить

только, что имение наших господ было обширное и тянулось широкой полосой на 15 верст, упираясь одним концом в берег реки Самары, где построена была одна из самых больших, по тогдашним временам, водяных мельниц нашей губернии. Запрудить такую большую реку, чтобы отвести затем воду по канаве за две или три версты от плотины, — представлялось в те времена делом капитальной важности и необычайной трудности. Мельница обслуживала целый ряд соседних сел и деревень и, при благоприятном спуске полой воды, представляла чрезвычайно доходную статью в помещичьем хозяйстве. Туда требовались наиболее способные руки и головы. В качестве одной из таких ловких голов и был отправлен на мельницу мой отец за свои доблести по конюшенной части. Он был левша, что, по мнению бывалых людей, составляет верный признак ловкости и других скрытых способностей человека.

Близ мельницы образовался целый поселок в несколько изб и флигелей для семейных служащих, рабочих и помольцев. Тут же были и хлебные амбары, кузница, бани, погреба, и вообще это место было всегда весьма оживленным и переполнено народом. Здесь был пункт, куда сходились и откуда расходились во все стороны вести о всех важных событиях окрестного мира. Постоянное общение с значительным числом самых разнообразных лиц, с богатыми и свободомыслящими молоканами села Коржевки и с бедной, но честной и трудолюбивой мордвой села Съезжего, — все это значительно расширяло кругозор вообще всех, служивших более или менее продолжительное время на мельнице. Отец же прожил там не менее двадцати лет.

Сначала он служил там в качестве «засыпки» и «гарочника», т. е. засыпал хлеб в ковши и брал за помол гарнцы, натурою; помогал мельнику и его

помощникам поднимать, ковать, класть на место моловые камни и устанавливать снасти. Мало-помалу сообразительный Егорка принялся делать цевки для шестерней и кулачья для больших сухих колес, и в конце-концов сам справлялся с выделкой и устройством самих шестерней и самих колес. Через несколько лет он стал искусным мельником, нужным человеком. По мере роста его репутации, кличка Егорки раздавалась все реже и реже — даже из уст самого старого барина, и, таким образом, все больше и больше укреплялся за ним титул Егора. Одновременно с этим без специальных заслуг и Палашка превратилась в Пелагею.

Среди многих других доблестей этой многострадальной женщины выдавались особенно две. Во-первых, она не только любила, но и глубоко уважала своего Егорку, гордилась им и старалась всеми силами поддержать и охранить его добрую репутацию. Ее умственный кругозор не выходил из узких пределов кругозора деревенской женщины того времени, но в ней было развито в сильной степени нравственное чутье и вера, что честный человек в серьезных случаях не может поступать дурно, бесчестно. Она могла не понимать многих поступков людей, которых она считала добрыми и честными, но никогда не сомневалась в чистоте их мотивов. Эта черта так много раз проявлялась в ней впоследствии в отношениях ко мне и моим политическим товарищам.

Нельзя обойти молчанием и другую из ее доблестей. На протяжении каких-нибудь двух десятков лет эта маленькая женщина ухитрилась народить семнадцать человек детей, точный счет которым она вела по пальцам; земля своевременно поглотила большую часть их в младенческом возрасте, оставив на пожизненную муку только трех сыновей и двух дочерей.

Самым младшим из сыновей и предпоследним из детей оказался я. За мной следовала только одна сестренка Таша, которая была моложе меня на два или на три года, и которая, слава Богу, еще жива и по настоящее время[2]).

В лице младшей сестры погибла огромная сила, какую способна только проявить русская крестьянская женщина. Здоровая душой и телом, сильная, работящая, в высшей степени добрая, чуткая и приветливая натура, она, несмотря на то, что осталась на всю жизнь неграмотной, была женщина достаточно развитая, чтобы интересоваться и отзываться на все крупные общественные вопросы своего времени. В период хождения в народ она производила сильное впечатление на интеллигентскую молодежь своей искренностью и безыскусственностью. Во всяком обществе она всегда оставалась сама собой, высказывая свои мысли смело и своим крестьянским образным языком. Вследствие этого к ее умным и всегда практичным советам с величайшим вниманием прислушивались более знающие, но менее опытные и часто совсем наивные товарищи.

Да, погибла хорошая сила, задавленная всей силой гнета и бесправия крестьянской жизни.

В нашей семье старшие братья мои, Максим и Петр, были для меня слишком взрослыми людьми, чтобы быть в их компании. Но сестренка Таша была ближе всего ко мне, и мы с ней делили сообща все наше раннее детство. К тому же, я был ее постоянной нянькой, и во всех наших играх с товарищами по необходимости принимала участие и она. Она привыкла быть в нашей ребячьей, а не в девичьей, компании, и все детские переживания великого исторического момента освобождения крестьян она

[2]) По слухам, она умерла с голоду в 1921 или 1922 году.

делила в нашей ребячьей среде, будучи четырехлетним пузырем.

XII

ДОБРЫЙ БАРИН

Все мы, братья и сестры, родились и выросли на мельнице.

Задолго до моего рождения слава отца достигла высокой степени, когда он из мельника в одно прекрасное время превратился в «чертопруда», как звали на миру всех специалистов по прудке плотин. Искусство это он перенял от старого и опытного чертопруда, человека вольного, в течение многих лет наблюдавшего, между прочим, и за плотиной на нашей барской мельнице. Когда старик-учитель удалился на покой, отец взял заведывание плотиной исключительно в свои руки и оставался, с значительными промежутками времени, ее наблюдателем вплоть до самой своей смерти в 1876 г., — несмотря на то, что и имение, и мельница, ставшая механической, переходили во вторые и третьи руки. Он так и умер на этой мельнице, накануне того дня, когда решил ехать ко мне в Петербург на свидание, — «запарившись в бане на полке́».

Его ответственное положение и важная роль в мельничном хозяйстве делали его нужным не для одного его барина. Его слава, в качестве опытного чертопруда, шла далеко за пределы его местности и уезда. Многие помещики из других мест в трудных случаях нередко обращались к опыту карповского Егора. Благодаря этому, оставаясь внешне и внутренно простым крестьянином, отец привык прямо и смело высказывать свои мнения господам, даже когда эти мнения явно шли вразрез с интересами собеседника. В то же время он был очень

скромный и тактичный человек, и умел, не раздражая власть имущих, сохранять свое достоинство.

При таких личных качествах и сложившихся обстоятельствах не покажется удивительным, что впоследствии, в первые годы после объявления манифеста 19 февраля, когда взаимное непонимание и подозрительность между крестьянами и помещиками принимали резкие формы, глаза недоумевающих крестьян нашей волости обратились к моему отцу, который и был избран волостным старшиной нашей прежней пустоваловской волости, бузулукского уезда. Окрестные помещики, и особенно либеральные мировые посредники первого призыва, с своей стороны, были очень довольны этим выбором. Последние надеялись сделать Егора Лазаревича, — как отныне стали называть отца, — действительным посредником между крестьянами и помещиками, из коих те и другие знали и по своему уважали его.

Но эта сторона его деятельности относится уже к 60-м годам, о чем я здесь говорить не намерен.

Несомненно, однако, что мысль о выходе на волю давно уже бродила в голове отца — еще в то время, когда никаких реальных надежд на всеобщее освобождение не существовало. Он несколько раз заговаривал с молодым барином, Александром Петровичем, — с коим был почти одних лет, — прося его отпустить на волю. Но барин не хотел огорчать своего почтенного Егора и все разговоры обращал в шутку.

Вопрос о выходе на волю ставился на очередь так часто, что сам Александр Петрович, в серьезных случаях и в тревожные моменты, хлопая отца по плечу, для его поощрения говорил:

— Ну, вот, Егор, если только прудку благополучно закончим, — или: если этот год полая вода благополучно сойдет, то... я и о тебе подумаю...

(«Может быть, и помилую», — говаривал в таких случаях щедринский волк).

Как долго и как страстно одно время среди интеллигенции дебатировался вопрос об относительном значении «политики» и «экономики», свободы политической и свободы экономической, и как часто по этому поводу мне приходил на ум рассказ отца о том, как он сделал решительный шаг перед барином, чтобы тот дал ему «вольную», «отпускную»!

— Все работы по плотине и по мельнице были закончены, — рассказывал отец. — Мельница была в полном ходу. Барин был доволен и весел. Выбрал я первый праздник, съездил со старухой в с. Съезжее в церковь, к обедне, поставил по свечке за каждого члена семьи, заказал молебен и молился так горячо, как никогда раньше. Вернулся на мельницу и жду приезда барина. Обещал приехать и приехал, только, к несчастью, с барыней (крестьянкой, моей крестной матерью), которая была против моего отпуска на волю.

— Все служащие на мельнице знали о моем намерении, и потому, перед тем, как мне идти к барину, сошлись ко мне в избу пожелать доброго успеха и проводить по завету старых людей. А завет их таков, что, когда человек далеко едет или за важное дело принимается, перед тем, как из дому выходить, нужно свечку восковую затеплить, всем присутствующим на лавку присесть, потом встать и Богу помолиться. Так и было все сделано. Проводили меня честь-честью...

Пришел я к барину и, ни слова не говоря, в первый раз в своей жизни, перед ним прямо на колени опустился.

— Что ты, что ты, Егор... — встревожился барин и бросился меня поднимать. Зачем?... Не надо... Говори — чего хочешь?...

— Пришел просить, — говорю, — мою судьбу

и судьбу моих ребят решить. Милостивый барин, Александр Петрович, и вы, барыня, Марья Максимовна!.. Послужил я вам и родителю вашему много лет верой и правдой. Смилуйтесь, пожалейте и меня, и ребят моих. Ничего мне не надо... Оставьте, если милость будет, только рубашку одну, чтоб не стыдно было от вас уйти и с людьми встретиться... А если и этого мало... положите выкуп божеский... Только отпустите на волю меня и ребят моих. Век не забуду, век ваш покорный слуга буду.

— Встань, Егор, встань, — говорил барин, поднимая меня. — Поговорим толком... А ты послушай, что я тебе скажу. Знаю, что тебе хочется на волю, и сам сколько раз об этом думал. Но — сам ты посуди... Ну, что я без тебя буду делать?.. На кого я весь свой завод оставлю?.. Ты вот говоришь, что и теперь на других иногда работаешь, и что меня тем более никогда не покинешь при нужде. Не ручайся за это, Егор! Я бы сам за себя не поручился! Вольный-то человек обо всем и рассуждает по другому. Вот ты деньги за выкуп мне предлагаешь. Ну, как не стыдно тебе... Ну, что мне в твоих грошах... когда ты сам знаешь, что у меня одна прорва в плотине не одну тысячу рублей поглощает. — Нет, ты образумься, Егор... Подумай хорошенько, и — я прямо скажу — пожалей меня!.. И чем тебе у меня не хорошо? Разве кто-нибудь тебя обижает?.. Разве когда-нибудь я тебе худо сделал?... — Нет, Егор, ума не приложу, чем ты недоволен у меня... Нет, ты не жалеешь меня!..

— Барин говорил так трогательно, — продолжал отец, — что, уходя от него, я почувствовал себя, словно виноватый, и радовался, что я не «вольный» человек. Если бы я был вольный, мне, пожалуй, пришлось бы пойти к барину в неволю, чтобы обеспечить судьбу барской мельницы!..

Я, конечно, не берусь передать здесь эту сцену

с той трогательной торжественностью, которая слышалась в рассказе моего отца. Но этот рассказ внушил мне довольно глубокое убеждение, что история создала два коренных социальных зла, уничтожение которых требует определенной последовательности. Эти два зла суть: во-первых, все виды рабства, или институт частной собственности человека над человеком — все политические несвободы, — и, во-вторых, — институт частной собственности на средства и условия существования людей. Уничтожение первого зла есть абсолютно необходимое условие и предпосылка для избавления от второго зла. Освобождение политическое, как в зародыше, таит в себе освобождение экономическое и социальное.

XIII

ОБЩЕЕ НАСТРОЕНИЕ ПЕРЕД ВОЛЕЙ

Началась Крымская война. Сначала глухо расносились слухи о неудачах наших войск. Потом правда сделалась открытым секретом. Всюду распространилась тревога — как в крестьянском, так и в помещичьем лагере. Было душно, как перед грозой. Смерть царя Николая и восшествие на престол молодого Александра только увеличили общее смятение. Роли поделились: помещики искренно оплакивали смерть старого, а крестьяне столь же искренно молились за нового царя. Все глухие слухи о возможных реформах, об улучшении быта низших сословий, — в крестьянском мозгу преломлялись в виде единственной формулы: «Воля»! Никто не мог точно определить — что такое «воля», в чем она состоять должна, но в народном сознании с понятием о «воле» соединились уже какие-то определенные принципы, по которым все в один

голос могли сказать — чем эта воля не должна быть.

Судить и критиковать историю задним числом, конечно, всякому легко. Но не нужно быть пророком или великим историческим сердцеведом, чтобы сказать с уверенностью, что единственно правильное и разумное решение столь сложного политического, экономического и социального положения тогдашней России состояло в одновременном введении представительного образа правления, — в создании органа самоуправления на широких демократических началах, где народ, в лице своих выборных представителей, мог бы принять участие в обсуждении и формулировании положительного содержания воли и на практике, на опыте положительного законодательства научиться отличать возможное от желательного и принимать свою судьбу на свою собственную ответственность.

Конечно, компромиссы были бы и тогда неизбежны, но они были бы народу понятны, и Русская земля не пережила бы всех ужасов последующих десятилетий. Мало того, можно смело сказать, что при таких условиях все социальное лицо земного шара теперь было бы иное.

Но чего не было, того не было; и при данных условиях крестьянской массе оставался лишь один из двух путей. Или выступить активно, стать на революционный путь и перейти в наступление, дабы очистить и устранить с пути все устранимые препятствия к правильной постановке и правильному решению правовых, экономических и социальных вопросов. Или же — остаться пассивным зрителем, предоставив какой-нибудь внешней силе или внешней доброй воле определить положительное содержание этой «воли», в ожидании чего занять оборонительную позицию и ждать нападения возможных противников.

Благодаря полной дезорганизованности масс, при полном отсутствии в стране организованной интеллигенции, способной привлечь симпатии народных масс и давать им руководящие лозунги, — первый путь был, очевидно, невозможным в данный исторический момент, и крестьянство пошло по второму пути.

Отсюда неизбежно и вытекала та историческая драма, которая развертывалась в течение сорока с лишним лет, после формальной отмены крепостного права.

В таком положении крестьянство все свои надежды возложило на царя, воплощавшего в себе идею высшей справедливости на земле, самодержавного властелина и верховного законодателя, который, порешив освободить крестьян, не мог поступать несправедливо. Все, что, по мнению крестьян, было справедливо, то исходило от царя; все несправедливое было ложью, обманом или подвохом со стороны помещиков и чиновников, и — главным образом — помещиков.

До сих пор крестьянство знало только три действующие силы: царя, помещиков и рабочий народ в образе крестьянства. Раз помещики устраняются, значит, между царем и народом не остается никакого средостения. Сложный механизм современного государства не был виден крестьянам. Они пассивно терпеливо ждали от царя «справедливой воли».

Таким образом, крестьянство возложило на царя в высшей степени деликатную и прямо невыполнимую задачу — дать им «волю», отвечающую всем требованиям общественной справедливости, относительно которой у них, крестьян, существовали уже определенные взгляды. Крестьянство не могло понять, что тот государственный механизм, который фактически должен был выработать и провести в жизнь необходимые реформы, при всем добром

желании царя, всецело находился в руках тех же дворян помещиков и приказных крючков, которых народ считал издавна своими врагами.

В числе основных вопросов, служивших пробой справедливости предполагаемой «воли», являлся земельный вопрос, который для крестьян собственно и не был вопросом. Крестьянин без земли — говорили на миру — уже не крестьянин, а дворовый, бесполезный человек, — паразит, который может существовать вместе с помещиком только потому, что у крестьянина есть земля, на которой он работает.

Конечно, крестьяне никогда не мирились с несправедливостью награждения дворян раздачею им в собственность крестьян. Но они понимали, что — плохо или хорошо — эта несправедливость делается в тех расчетах, что у крестьян имеется земля и, значит, они могут прокормить, одеть и обуть помещика. Но раз объявлено, что крестьяне больше не рабы, что они навсегда освобождаются от крепостной зависимости, от помещиков, то какая же тут справедливость или царская милость, если земля отбирается от крестьянина и дается тем, кто на ней никогда не работал, работать не умеет и никогда работать не будет?!.. Разве у царя мало разных других способов обеспечить судьбу бывших помещиков? Зачем он будет отнимать нужную землю от крестьян и отдавать ее в руки явных бездельников и дармоедов? — Нет, такую «волю» царь не мог дать!

Так рассуждали на миру.

И перед этим всеобщим убеждением должны были в течение десятков лет разбиваться все попытки доказать крестьянам противное ссылками на статьи свода законов или на Положение о крестьянах. До начала 70-х годов, когда выкуп земли был сделан обязательным, масса крестьян принципиально

отказывалась идти на выкуп, предпочитая платить за землю более высокий ежегодный оброк, отдалявший окончание 49-летнего срока, лишь бы не признать землю собственностью помещиков.

Кажется ясно, что тут вопрос сводился отнюдь не к тупости крестьянства и не к его неспособности, а к тому, что эти законы были, не спросясь его и не по его пониманию, написаны.

XIV

ПЕРЕЕЗД В ГРАЧЕВКУ

Весь этот хаос тогдашнего положения и настроения крестьян, как в капле воды, отразился в наших детских крестьянских играх того времени.

Нужно сказать, что, когда вопрос о предстоящей воле повсеместно стал предметом открытых разговоров, мой отец задумал перевести всю семью с мельницы в село Грачевку, где решил просить мир отвести ему землю под усадьбу, чтобы поставить свой дом. Дело в том, что, несмотря на столь продолжительное проживание отца на мельнице, он не числился дворовым, а считался тяглым крестьянином. В предвидении нового времени он и пожелал обзавестись, наконец, оседлостью, — своим домом и хозяйством, продолжая сам попрежнему служить на мельнице.

Приехав впервые на жительство в село, мы временно поместились всей семьей в курной избе дяди Николая, старшего брата отца, когда еще была жива бабушка Настасья. Тетка Алена, жена дяди Николая, здоровая женщина, превзошла даже мою мать своей плодовитостью. При подсчете своего непосредственного потомства ей не хватало паль-

цев на обеих руках и ногах, и потому она всегда сбивалась со счета на двадцать третьем чаде. Сколь ни жадно поглощала земля это обилие, все же семья дяди была, по крайней мере, вдвое больше нашей.

Отсюда легко себе представить густоту населения этой курной избы, особенно в зимнее время, в сообществе телят и ягнят.

Спать на полатях или на печке во время топки было невозможно. Дым стоял наверху и наполнял, по крайней мере, половину избы. Но, в качестве маленького человека, я скоро научился бегать по избе, не сгибая спины перед дымом.

Через некоторое время отцу отвели хорошее место под усадьбу, на краю села; он купил готовую небольшую избу и поставил на новой усадьбе, снабдив ее белой трубой и рыжими тараканами.

Здесь я провел лучшие годы моей детской жизни, не смущаемый и не возмущаемый никакими мыслями и тревогами о мировой скорби. Здесь я впервые научился любить, ценить и уважать крестьянина, видя вокруг себя множество лиц, моих сверстников, более даровитых или не менее способных, чем я, которые, однако, бесследно заперты теперь в недрах тяжелой, трудовой, полуголодной и бесправной крестьянской жизни в деревне.

XV

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Как раз напротив нашего дома находился целый ряд крестьянских хлебных амбаров. Эти-то амбары и служили главным местом сборищ для всех ребят нашей улицы. Сюда приходили матери и сестры звать домой своих сорванцов; сюда же приходили они, чтобы разобрать чью-нибудь жалобу

и на месте оказать скорое и решительное правосудие, от которого спасали нас только быстрые ноги, привычная подозрительность на счет справедливости взрослых, да уменье в нужный момент держаться на приличной дистанции от судей.

Обычная, очередная наша игра была игра «в разбойники» или «прятки». Состояла она в том, что один из участников исполнял роль стражника, который должен был ловить разбойников, спрятавшихся в «дремучем лесу», — между амбарами и под амбарами, куда было проделано множество дыр; пролезать через них нередко приходилось с опасностью содрать кожу на спине или распороть себе живот. Только благодаря непостижимой прочности и выносливости доморощенных рубах и портков того времени, можно было являться домой с прикрытыми синяками и царапинами на всех частях тела.

Выгнанный из-под амбара разбойник должен был, сломя голову, бежать от стражника, норовя в случае крайности попасть в «дом», т. е. в очерченное около одного из амбаров место, где каждый разбойник считался неприкосновенным. Для того, чтобы поймать, нужно было схватить разбойника за рубашку; вырвавшийся силой считался пойманным. Пойманный — в наказанье — делался, в свою очередь, стражником, должность которого была очень трудная и неприятная: он один, а разбойников много, и все о нем лихо мыслят. Случалось, в увлечении, стражник гонится за каким-нибудь излюбленным злодеем, которого он решил во что бы то ни стало наказать, и бежит за ним с версту или две; тогда все остальные разбойники, в свою очередь, гонятся за ними, стараясь отвлечь внимание стражника на «свежего» злодея и тем спасти своего товарища.

Была и другая, юмористическая игра, под

названием: «О том, как бабушка Ненила в Киев молиться ходила», при чем бабушку Ненилу изображали безразлично и мальчики и девочки. После кратких рифмованных переговоров с старой богомолкой, переговоры эти кончались тем, что согбенная от лет старуха вдруг выпрямлялась и, в гневе на богохульников и сквернословов, поднимала свою клюку и гналась за одним из охальников. Пойманный охальник, в наказание, превращался в бабушку Ненилу и должен был идти в Киев Богу молиться.

Все другие игры создавались большей частью сообща, в виде импровизаций. Здесь разыгрывались своего рода мистерии на темы из текущей жизни. Как маленькие обезьянки, мы отражали в своих играх все события, ставшие злобой дня для жителей всего села.

Всевозможные работы на барщине, с участием рабочих и работниц, приказчиков, старост и самих господ, — были представляемы очень часто. При этом роли принимались и разыгрывались всерьёз. Для того, чтобы получить роль барина или строгого приказчика, было недостаточно одного желания. Нужно было заслужить доверие «мира» и иметь подходящие к нему качества. До слез иногда доходили многие, тщетно добиваясь ответственной роли барина, начальника или приказчика. Во-первых, в роли барина или приказчика нужно было говорить «страшно!..», т. е. грозно. Ну, а какой же страх может исходить, например, от Федьки-губана?

А, ведь, каждому любо быть барином! Поедет это он на паре или тройке лихих коней, представленных двумя или тремя малышами любого пола; начнет он важно так расхаживать да покрикивать на приказчика, а приказчик — на рабочих, и большую трубищу с длинным чубуком покуривать!...

Роль хорошего приказчика заключалась в том, чтобы он как можно больше ругался и бил направо и налево, придираясь ко всякой мелочи и не слушая никаких оправданий. Всякий без меры добрый, т. е. «слабый», приказчик или изгонялся самим барином, или «мир» отставлял его от должности за полной негодностью, передавая эту важную роль в более достойные руки.

XVI

ЧТО ТАКОЕ «ВОЛЯ»

Кроме намеченной цели, я привожу здесь эти второстепенные детали еще и для того, чтобы обратить внимание старшего и взрослого поколения на огромное воспитательное значение этих импровизированных в товарищеской компании детских игр и представлений, где обнаруживаются и образуются индивидуальные характеры и способности. Глубоко заблуждаются те, кто думает, что маленькие пузыри, их дети, ничего не замечая, равнодушно и бесследно проходят мимо событий, окружающих их в семье, школе и обществе.

Я помню, как мы, дети, — мальчики и девочки — с жадным любопытством прислушивались к беседам старших о семейных, мирских и барских делах, притаившись на печи или на полатях, запрещая друг другу даже громко говорить, чтобы не обратить на себя внимание старших. Особенно это любопытство возросло и заразило все детское население, когда крестьяне стали собираться небольшими компаниями по избам друг у друга, осторожно обсуждая виды на будущее в случае «воли». Мы отлично слышали пониженный тон разговоров и отлично понимали его значение. Мы знали всех лиц, при приближении которых совсем прекращались всякие

разговоры о воле. И старшие не подозревали даже, что каждый из нас был готов претерпеть какие угодно побои, но не выдать тайн, подслушанных нами разговоров. Даже не тайны казались нам тайнами.

Выйдя на улицу и оставшись в компании маленьких товарищей, мы заводили разговоры на ту же тему, только преувеличивая все слышанное до крайности, и из предосторожности говорили шопотом, а некоторые слова произносили громко, но на-ухо. И никому из нас это не казалось преувеличением.

Мы, дети, отлично понимали, что к старшим обращаться за разъяснением жгучих вопросов и недоумений было нельзя, бесполезно, зная, что старшие сочтут эти вопросы нескромными, детям неприличествующими и даже опасными, ибо глупенькие дети могут сболтнуть зря, при ком не следует, и получится неприятность. И мы, дети, знали по опыту, что за всякий нескромный и не детский вопрос, — например, за вопрос о «воле», — мы непременно получим подзатыльника, с угрозой «вырвать язык и отодрать поясом, если в другой раз об этом хоть рот раскроешь!»... Поэтому в избе, где происходили интересные собрания, мы, ребята, незаметно и как будто нехотя, влезали один за другим сначала на печку, а оттуда на полати, и там лежали, сгрудившись, как поросята, боясь пошевелиться и даже громко дышать, — в страшной духоте и обливаясь потом, словно в бане на полке́.

Конечно, каждый выносил с полатей свое собственное впечатление, свои собственные симпатии, свои выводы и умозаключения из слышанных, часто противоречивых мнений взрослых людей, но всем им после жарких споров мы сообща подводили итоги, стараясь привести их к одному знаменателю на другой день, после игры в разбойники или в бабушку Ненилу. Случалось, многие вещи оставались

невыясненными, и тогда устанавливалось молчаливое соглашение сообща и всеми способами допытываться от старших правильного объяснения, но так, чтобы этого старшие не заметили: «А то пускать в избу не станут, либо выгонять будут!...»

Что такое «воля», никто из нас, конечно, не знал и никакого определенного представления о ней не имел. И самый вопрос об этом нами прямо никогда не ставился. Знали только, что это «страсть какая хорошая вещь». К вопросу о воле мы подходили окольным путем. Каждый высказывал, что он, Федька или Гришка, сделает, когда «волю дадут». Все при этом понимали, что каждый будет высказывать, приблизительно, то, что он от отца или матери, или от взрослых братьев подслушал. И замечательно, что детей толковых отцов слушали внимательнее. Как бы то ни было, здесь уже требовалось своего рода творчество, — указать наглядную форму будущей «воли», чего, как мы видели, не могли сделать сами отцы и старики.

Много раз мы говорили по этому поводу, но в конце-концов оказывалось, что самые разнообразные идеалы будущей жизни были всем нам давно более или менее известны.

Как только воля «откроется», Федька первым делом новый сарай и навес на дворе поставит, а избу тесом покроет. Гришка купит третью лошадь и свой собственный амбар выстроит, потому что хлеб ссыпать некуда, а соседям надоело кланяться. Филька корову да с десяток овец еще заведет, потому — молоко и шерсть нужны; к тому же, корму много, а скотины мало. Ганька совсем новую избу поставит, потому что из старой-то уж гнилушки давно сыпятся. Даже сестренка Таша и та не утерпела и выразила свое мнение: «Тятька будет каждый день в город ездить и мне пряника и кренделей привозить».

И это мнение было выслушано с полной серьезностью, с той разве оговоркой, что многие находили ее пожелания очень скромными, и что она смело могла бы пожелать еще несколько аршин кумача на рукава да ситцу на сарафан.

XVII

ЗЕМЛЯ И ЛЕС

Насчет земли вопрос не поднимался, — по крайней мере, у нас никаких споров и недоразумений насчет пахотной и сенокосной земли не возникало. Все признавали делом бесспорным и решенным, что вся земля будет «нашей». Хотя при господах и были разные поля, — одни крестьянские, другие барские, — но, ведь, и те и другие «мы» же, крестьяне, обрабатываем. И какой же тут может быть спор, когда крестьяне на волю отходят! Куда? На что тогда барину земля? Только руки ему свяжет, да будет ему хлопот полон рот!

Но вот Федька-губан, который собирался новый сарай с навесом ставить, однажды совершенно неожиданно и с тревогой поставил довольно щекотливый вопрос: у кого тогда нужно будет разрешенья просить в лесу хворосту, жердей и столбов для сарая нарубить — у барина или у «стариков», т. е. у мира?

Вопрос всех смутил. Все молчали и только друг на друга косились, по лицу стараясь угадать, — у кого что на уме.

Дело в том, что землю с барином делили, лес — никогда. Он всегда барским считался. Много в лесу рубили тайком, — это и за грех не почиталось, — но если нужно было что-нибудь открыто срубить, то всегда дозволения надо было у барина спросить. Никогда лес крестьянским не был! Барин в нем и караулку построил и караульщика

всегда держал. Так сам караульщик это дело понимал, и потому Федькиному отцу решительно заявил, что как бы мир ни решал, а только рубить жерди и брать хворост без дозволения барина он, караульщик, никому не даст.

Караульщик был человек строгий, и с его мнением нельзя было не считаться.

Как бы там ни было, но вскоре и это затруднение разъяснилось, и Федька просиял. Лес тоже в мир отойдет, только барин наравне со всеми и дровами и ягодами будет пользоваться. Ему можно дров миром сразу на целый год запасти. А без леса мужикам жить тоже никак невозможно. Барину оставлялся дом, усадьба со службами, огород, сад с оранжереями и гумно, — большое гумно!... как раз за нашим двором и близ околицы.

Зашла речь о том, как же барин с своим хозяйством справится? Кто же из дворовых при нем останется?

Решили, что сад не может остаться без садовника, а лошади без кучера. А как барину обойтись без лошадей!.. Опять же и повар... Без повара, садовника и кучера барину никак не обойтись. Решили, что они должны при барине остаться.

Поднялся было недовольный голос Яшки, которому барский кучер дядей доводился. Яшка сказал, что тетка недавно говорила, что как только воля объявится, дядя кучером не останется: хочет в город с теткой переехать. Нельзя дядю в кучерах оставлять!...

Тут многие стали ему поперек говорить. Особенно насел на него великовозрастный Ганька.

— А может барин жить без лошадей?

— Нет... не может, — нерешительно отвечает Яшка.

— А могут лошади жить без кучера?...

— Знамо, не могут, — смело отвечает Яшка.

— А твой дядя кучер?

— Знамо, кучер...

— Умная твоя голова!.. Так подумай: может ли твой дядя бросить лошадей и уйти от барина?

Яшка смутился. Его никто не поддержал. Так с тем и разошлись в этот раз. Яшка ушел огорченный.

XVIII

ФРОСЬКА И ГАНЬКА

Но на этом дело не кончилось. При первой же оказии, как только ребята по обыкновению собрались у амбаров для очередной игры в разбойники, явился туда и Яшка, — но не один, а на этот раз с сестрой своей Фроськой, которая была года на три, на четыре старше своего брата и уже числилась в подростках. Она была здоровая и разбитная девица, мастерица петь и плясать. Случалось, она и раньше играла с нами, но не так часто, как другие подружки ее.

Стали «конаться», — кому стражником быть. Конанье, — род жеребьевки, — производилось на палке или на длинной хворостине, особенно, когда участников было очень много. Тот, кому достанется самый кончик, когда уже никто уцепить хворостину не может, считается вынувшим счастливый или несчастливый жребий. В данном случае дело шло о выборе стражника. Жребий пал на Фроську — ей быть стражником.

Фроська с досады плюнула; но потом, покоряясь судьбе, весело хлопнула в ладоши, засучила рукава и уткнулась лбом в угол амбара, чтобы ей не было видно, куда кто пойдет прятаться. Таково было обычное правило игры. На поджиданье полагалось минут пять. О начале поисков один из дальних разбойников давал знак свистом.

Фроська все время, видимо, была возбуждена. Она плутовала и подглядывала, — куда пойдет Ганька. Когда раздался обычный свист, Фроська с места в карьер бросилась прямо под намеченный амбар, откуда минуты через две в одну из многих дыр быстро выскочил Ганька; бросился бежать и снова скрылся меж амбарами. Через минуту из той же дыры с великим трудом выползла Фроська; осмотрелась и, как опытный игрок, побежала по амбарам, обегая их то с той, то с другой стороны. Таким образом, она отпугнула Ганьку от амбаров и пустилась за ним. Ганька и все мы знали Фроськину удаль, и потому Ганька орал во все горло, взывая о помощи, а мы, повылезши из своих гнезд, пустились ему на выручку.

Спасая своего товарища, многие из нас готовы были пасть жертвою самоотвержения: сколько раз подвертывались Фроське прямо под руки или под ноги. Но она, видно, не обращала на нас внимания, наметив Ганьку своей жертвой.

От Фроськи и от Ганьки уже давно пар столбом валил. Фроська, видимо, освирепела, а Ганька носился на крыльях стыда и отчаяния. Но вот, видит Ганька, что его конец подходит, Фроська его настигает, что от нее ему уж не уйти; чувствуя, что она уже хватает его за рубашку, он быстро падает... Фроська перелетает через него и тоже падает. Ганька пользуется свободным моментом, напрягает последние силы и мчится к «дому». Поднимается и Фроська... Но видя, что счастье повернулось к ней безнадежным концом, она пошла шагом, слегка прихрамывая. Мы все пошли к ней навстречу, узнать — не ушиблась ли, держась, на всякий случай, на хорошей от нее дистанции. Она не «зачуралась», и, значит, была все еще «стражником».

Однако, все решили отдохнуть, для чего и сошлись все снова к «дому».

Герои этого дня, Фроська и Ганька, тяжело дышали и вытирали пот.

Через пять минут, когда все сгрудились у заветного «дома», Фроська все еще неровным голосом начала, обращаясь ко всем, но глядя все время в упор на Ганьку:

— А ну-ка, скажите, почему всем воля, а моему дяде век кучером у господ оставаться?... Чем же он хуже других? Кому какое он лихо сделал?...

Все молчали.

— Ты что же молчишь?.. — обратилась она прямо к Ганьке. — Ведь, ты Яшке говорил, что дядя барским кучером на весь век должен остаться?

— Что же, Фрося... Не я один говорил, все говорили, потому — по закону так выходит.

— То-то и дело, что все... Кабы ты один болтал, — наплевать бы мне на тебя. А то ты всем голову дуришь... Кто тебе сказал, что кучера при господах остаться должны?.. Где такой закон нашли?..

— Ты постой, Фрося, — заговорил почтительно Ганька, оправившись от первого натиска. Вовсе не зря говорили. Потому — как же быть?... Посуди сама... Может али нет барин без лошадей жить?... Скажи...

— Ну... положим, что не может... Так что?..

— А лошади могут быть без кучера?..

— Знамо, не могут. Ну, так что?..

— Так как же барину без кучера обойтись?

— Знамо, нельзя. Ну, так что?..

— Вот видишь! — торжествующе воскликнул Ганька. — Нельзя барину без кучера!.. Сама говоришь.

— Знамо, нельзя, — подтвердила Фроська. — Только дядя все-таки в город уедет и здесь не останется.

— А кто же с лошадьми будет?... — спрашивает Ганька.

— А твоего отца приставят, — с ехидством отвечает Фроська. — Отец твой — вот кто на месте моего дяди будет.

— Ну, это дудки!.. Ишь чего выдумала!.. Типун те на язык!.. встревоженным голосом говорил Ганька, озираясь на всех. — У нас, чай, хозяйство есть, а он работник-то один...

— Ну, коли твой негоден, вот Гришкин отец молодец, он и тройкой хорошо правит, как раз в кучера подойдет.

Гришка тоже забеспокоился и начал жаться.

— Да... ишь, вы какие!...

Так перебрала Фроська всех наших отцов попорядку, и каждый сын только пятился назад, от Фроси подальше. А некоторые из малышей, чуя какую-то беду, вместо ответа принимались вытирать рукавом глаза.

Фроська торжествовала. Наконец, она встала и решительно направилась к Ганьке.

— Ну, коли все отказываются... Тогда не миновать, видно, твоему отцу в кучера идти.

Ганька окончательно смирился и, вместо ответа, бросился бежать. Некоторые из малышей с плачем тоже пустились вслед за ним. Остальные, хотя и медленно, но тоже не без трепета разошлись по домам.

Так неожиданно грустно закончилась эта игра.

XIX

ИСТОЧНИКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЕРЕВНИ

Однако, столкновение с Фроськой не имело печальных последствий для наших игр. Фроська победила не только нас. Ее взгляды восторжествовали и на селе. И бабы и мужики в один голос порешили, что освобождать, так освобождать всех,

и тяглых крестьян и дворовых, и, значит, Фроськин дядя в город уехать может.

После этого, довольная Фроська при первой же оказии сама пришла к нашим заветным амбарам и приняла самое деятельное участие во всех наших играх, при чем даже великодушничала, относясь к бедному Ганьке с особой снисходительностью.

Нужно знать близко тогдашнюю крепостную деревню, чтобы не удивляться, — почему «словам» детей придавали такое важное значение, — и не одна только Фроська, но и бабы, старухи и даже старики.

Деревня была совершенно изолирована и варилась в собственном соку. Ни газет, ни журналов, никакого света или продуха не было извне. Деревня была совершенно безграмотна. Все сведения из высших сфер или о политических событиях доходили до нее главным образом через дворовых, которые слышали или подслушивали разговоры господ между собою и часто в искаженном виде пускали в обращение в деревне.

«Гумага» была тогда еще в пеленках. Помещичье судопроизводство велось на словах. Договоры, условия основывались тоже на словах. Долговые обязательства нарезывались в виде зарубок и крестов на особых деревянных палочках, которые раскалывались, для памяти сторон, вдоль пополам. Все делалось на-слово. Слово получило мистическую силу.

Целая деревня прислушивалась к невнятному бормотанию какого-нибудь Юдушки или Феденьки-дурачка, видя в этих юродивых «божьих людей», прорицателей будущего. Да, это было время «дурного сна», «дурного глаза» и «дурного слова», которое «не воробей, выпустишь — не поймаешь».

Кроме дворовых, другим источником просвещения в деревне служили поездки крестьян с во-

зами хлеба в город, за 70 верст. Каждая такая поездка была тоже своего рода событием. В путь провожали с такой торжественностью, как будто люди уезжали на всю жизнь. Путники награждались массой всевозможных поручений и гостинцами по адресу живущих в городе родственников и знакомых. Крестьяне редко ездили в город в одиночку. Они готовились к этому заранее и уговаривались ехать одновременно и артелью.

И странно. Всегда как-то так случалось, что, благодаря артельному ведению дела, все поручения исполнялись, гостинцы разносились; посредники вновь нагружались ответными поручениями и гостинцами; навещали всех, кого только можно было видеть, и все это — в один день и между делом... Все велось на словах, и ничего не забывалось.

За это же короткое время обыкновенно и собирались разные вести со всего вольного света, ибо знали, что для всего села вообще это будет наилучший городской подарок.

По части внутренней — личной и семейной — политики был еще нередкий источник всяких достоверных сведений — цыганки-гадалки. Войдя в деревню, по лицу первой встречной девицы цыганка тотчас угадывала, — какой — чернобровый или белолицый — парень вздыхает и сохнет по ней, не решаясь, однако, признаться и открыть свое сердце, так как этому мешает какая-то женщина или девица с серыми глазами.

Любопытство всех разжигается до такой степени, что, несмотря на установившееся общее мнение, что все цыганки только врут да воруют, — много, много молодых трепетных ладоней успеет цыганка пересмотреть в этот день.

— И все, ведь, девонька, правда!.. вот те крест, правда! Не диви бы про кого другого говорила, а то, ведь, про меня, все про меня... Словно она

у меня в то время за пазухой сидела!... Все так и режет, так и режет, как по писаному...

Перед объявлением воли, цыганки тоже стремились использовать предстоящее событие и описывали в радужных красках судьбу суженых обоего пола, которым после воли предстояла блестящая карьера. Мне долго потом напоминали предсказание цыганки о том, что я буду «барином».

Проходили также изредка калеки перехожие, слепцы и медведи со своими поводырями; старые солдаты-инвалиды, шедшие со службы; гуртовщики с провожавшими их приказчиками, гнавшие многочисленные стада рогатого скота и баранов-курдюков из оренбургских степей во внутреннюю Россию. Каждый из этих лиц, всяк по своему, вливал в деревенскую бочку с дегтем свою каплю меда.

Появлялись иногда и монахи или монашенки, заходившие к нам «мимоходом» на пути из св. града Иерусалима на святую гору Афон. Показывали они крестики и разноцветные камешки из-под гроба Господня, которые и продавали или выменивали на яйца, молоко и всякую другую снедь. От них впервые услышали мы, что воля-то давно уже царем написана и что в местах, неподалеку от царя, она была уже объявлена, а только дальше ее не пропускают господа с синодом.

Наконец, был и еще один светоч знания, просвещения и житейской мудрости, о котором, из скромности, я думал было умолчать, но который, ради исторической правды, я должен открыть миру. Это — Мартын Задека, Брюсов календарь, оракул царя Соломона, — книги житейской мудрости, непогрешимые оракулы, с предсказанием всех важных событий, как-то: войн, глада и мора — за тысячу лет, и погоды на каждый день.

Мартын Задека был моим первым учителем и наставником, после того, как мой старший брат

Максим обучил меня читать «по складам» на церковно-славянском диалекте. Сколько баб и девок приходило ко мне ворожить! Они сами брали житное зернышко и бросали в круг, замечая, на какую цифру падет это зернышко. Мое дело было отыскать текст под этой цифрою и провещать по складам великую тайну, сокрытую в соответствующем параграфе. Неграмотные бабы и девки немало содействовали моему усовершенствованию в чтении и в уразумении прочитанного, нередко подсказывая мне смысл Задекиных изречений. После многих нащупываний, общими силами открывали, что Задекинское «слово-у-су — добро-ерь-дь — буки-аз-ба» есть просто-на-просто «судьба», а «Червь-есть-челюди-он-ло-веди-ять-ве-како-ер-к» значит «человек».

И много личных, семейных и общественных тайн было открыто мне благодаря Мартыну Задеке!

Десятки миллионов темных людей проживало в России, как в мрачной тюрьме, не видя ни малейшего луча, ни малейшего просвета!... И вот, — в таких-то условиях и вырабатывалось положительное содержание «воли», которое хранилось в глубочайшей тайне даже от высших административных лиц в империи.

Сами помещики метались, как потерянные, не зная правды и ее размеров. Они также жили слухами да взаимными объездами и совещаниями. Они сами с тревогой прислушивались к толкам среди крестьян, и для них тоже было делом далеко не безразличным, какие слухи и мнения идут в народе, из чьих бы уст они не исходили — от баб, девок или малых ребят. Это всеобщее неведение служило неисчерпаемым источником для всяких фантазий и вымыслов, которые люди в конце-концов разучились отличать от действительности.

С одной стороны, крестьяне в своих требованиях — или скорее — желаниях, шли до логиче-

ского конца, добиваясь полной «справедливой» воли, считая бесспорным, что вся земля должна отойти к крестьянам.

С другой стороны, помещики-крепостники рвали и метали по поводу всякой поблажки крестьянам, предсказывая всяческие ужасы, включительно до полного избиения помещиков крестьянами.

При полном отсутствии гласности, при полном неведении того, что делается и подготовляется на верхах, при взаимной подозрительности, установившейся между помещиками и крестьянами, каждому оставалось руководиться только слухами и предположениями, признать невидимое как бы видимым и чаемое и ожидаемое как бы настоящим.

Так поступали все. Так поступил Федька, так поступила и Фроська. Федька поведал нам, его товарищам, горе своего отца, которое было и его горем. И горе его обратилось в радость великую, когда вопреки авторитету караульщика детский «мир» решил, что весь лес тоже должен отойти к крестьянам.

Тоже случилось и с Фроськой. Для нее установившиеся мнения окружающих получали силу законов. Поэтому нужно было спешить тотчас же рассеять возникшее несправедливое мнение, пока оно не укрепилось. И Фроська достигла своего.

Я указываю здесь на поведение нас, детей, но я мог бы привести множество примеров в том же смысле из последующего периода, относящихся уже не к детям, а к целым общинам и волостям, которые вопреки закону и Положению о крестьянах, несмотря на авторитетное разъяснение не какого-нибудь караульщика, а самого губернатора, под угрозою направленных в их грудь штыков, кричали: «Бейте, мы ваши, а земля наша...»

Такова сила объединенного народного сознания.

XX

ЦАРЬ

Однако, Федьку-то с Фроськой мы ублаготворили, а самый-то вопрос, из-за которого весь сыр-бор загорелся, остался не только нерешенным, но теперь окончательно запутался. Что же теперь будут делать господа со своим, все-таки довольно изрядным, хозяйством? У них и службы разные, и дом, и сад, огороды, гумно. Тут большой крестьянской семье трудно справиться. А барин с барыней и вовсе к работе не привычны: ни пахать, ни жать, ни лошадь запречь, — ничего не умеют. Как тут в самом деле быть? Один бы выход — «помочью»?.. Да где тут помочью обойтись! Никак нельзя!

Выходило так, что если самому хозяйством не заниматься, землю не обрабатывать и самому не работать, то после воли господам и жить в деревне совсем незачем. Лучше в город ехать, в «писаря», али на царскую службу поступить, чем крестьянским делом заниматься. Торговать или в купцы записаться — тоже нейдет — и для господ как-то бесчестно, да и занятие для них не сподручное: никогда ни покупать, ни продавать, как следует, господа не умели. Прогорят, как пить дать!...

Сколько мы голову ни ломали над тем, как барскому горю помочь, — ничего, однако, придумать не могли, пока не открыли всеотмыкающий, всеразрешающий ключ.

Этот ключ предстал перед нами в образе «батюшки царя».

У царя есть несметная царская казна. Он, как красное солнышко, всех обогреет. Если он и не всеведущий, то все же многознающий и премудрый: он все удумает и разрешит, чего простым не дано.

Он — добрый и справедливый. И кто до него дойдет, тот никогда ни в чем отказу не получит.

В применении к различным случаям, достоинства, добродетели и самый образ царя выяснялись перед нами до наглядного представления. Царь не может быть маленьким мальчиком и даже молодым человеком, потому что каждый из нас по себе знал, что молодость очень легкомысленна, — и поиграть, и побегать захочется, — а как же... разве царь будет бегать да играть? Как это можно! — Такое предположение казалось нам всем настоящим кощунством. Царь — святой человек. А все святые — старые старики. Миколу Милостивого мы все знали. И царь непременно старик... и седой, и с большой бородой. Ну, там сын, — наследник, значит, — тот известно, помоложе будет.

Выяснилось даже и то, как Белый Царь своим царством правит.

Сидит это он на превышнем престоле, а справа от него его сын, — наследник, значит. А промеж них белый голубок крылышки расправил. А по бокам енералы да сенаторы стоят и все на царя смотрят. Все время молчат, только крылышками машут, — точь-в-точь как на иконе в церкви написано. И что ни час, что ни минута, то царь во все концы своего царства своих «кульеров» рассылает. Подзовет к себе «кульера» и перо ему в шапку воткнет, значит, чтобы летел без удержу.

И долго спустя, будучи уже взрослым, при виде подобной картины, мне всегда вспоминалось наше милое, наивное детство.

Как бы то ни было, следует отметить, как резкую, характерную черту в нашем детском настроении: рядом со страхом и неприязнью по отношению к помещикам, было трогательное почтение и уважение к личности царя, доходящее до обожания.

Откуда же мы могли проникнуться столь глу-

боким чувством обожания и веры в царя, как не от отцов и матерей наших? Вера в царя, надежда на царя вносила в крестьянскую массу мир и успокоение. С этими чувствами к царю наше поколение вошло в 60 и 70 годы, и только благодаря силе этих чувств от крестьян с одинаковой легкостью долго отскакивали и казенные разъяснения «воли» чиновниками, и пропаганда революционеров.

XXI

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Здесь я позволю себе отметить еще одно очень существенное обстоятельство, над которым мне приходилось не раз останавливаться, чтобы уяснить себе: почему в нашу детскую голову ни разу не приходила мысль о выкупе или о какой-нибудь другой форме денежного вознаграждения или денежной помощи обиженным помещикам?

Что взгляд на землю, как на вещь, которой грешно торговать, действительно существовал среди крестьян — это верно. Но сам этот взгляд вытекал из более общего воззрения крестьян на известные формы общественного хозяйства, — в том смысле, что крестьянская масса того времени не знала иного хозяйства, кроме натурального. Купля и продажа лежала вне пределов крестьянского хозяйства. Продают и покупают только купцы, торговцы — люди, ничего общего с крестьянством не имеющие. Это их дело — жить от денег и деньгами. Крестьянин знает единственный способ приобретения и отчуждения — обмен человеческого труда в форме продуктов. Ясного представления о наемном труде, о денежном хозяйстве тогда еще не было. Многие фабрики и заводы того времени держали своих ра-

бочих тоже на положении крепостных, и всем казалось, — даже этим фабричным и заводским рабочим, — что как только откроется воля, они тотчас же бросят свои фабрики и заводы и заживут крестьянской самостоятельной жизнью, заведут свое само стоятельное хозяйство.

Денежного хозяйства, капиталистического производства, — с его детальным подразделением труда, с специализированными рабочими, лишенными самостоятельности и какого бы то ни было интереса к предприятиям, в которых они заняты, и превращенными в отдельные зубцы сложного механизма, — тогда еще не было даже и в помине. Тогда всякая семья работала на себя, производила продукты для своего потребления, а не на продажу. Город, рынок, базар или ярмарка были лишь необходимым дополнением, — придатком к крестьянскому хозяйству, и сами деньги представлялись исключительно как средство обмена, в тех случаях, когда нельзя приобрести нужную вещь путем непосредственного обмена на продукты своего труда. Крестьянская семья кормила, одевала и обувала себя своим собственным трудом. Крестьяне в лесу драли лыки для лаптей и лубки для телег и саней, для выделки берестяных бураков или туясов, решет, коробов и т. п.; добывали мочала для рогож и веревок; шерсть от овец и баранов давала верхнюю одежду; лен, посконь и конопля давали всякого рода материю для нижнего платья и белья.

Все обязательства к помещику выполнялись натурой или «барщиною», т. е. обязательным трудом на барина. Крестьянки приносили барину натурой часть добытых продуктов, — яиц, пряжи, холста, грибов, ягод и т. п. Тем же способом расплачивались крестьяне с попом и причтом, с местными писарями и живописцами, с цыганами и цыганками и с проезжими торговцами — «кошкодавами», из

коих последние уже своим обычным криком по селу обнаруживали лучше всего характер своей профессии:

— Эй, вы бабы, девки молодые!.. Идите, хлеба несите, денег не трясите!... Чашки, ложки менять на кошки!..

И действительно, огромная часть кошек на селе становилась жертвою натурального хозяйства.

В действительности, господствовавшее натуральное хозяйство для своего прогрессивного развития требовало специальных условий и создавало особую психологию в рабочих массах и в целой стране. Оно требовало жизни большими семьями, большими селами, общинного владения землей, развития артельного труда, развития производства на кооперативных началах, превращения частных хозяйств в коллективные и простых — в более сложные путем федерирования их снизу вверх, переходя последовательно от семейного к общинному, волостному, земскому, областному и общенациональному.

Поэтому передача земли в руки частных лиц, неспособных жить трудами рук своих, признание земли частной собственностью помещиков или выкуп ее у помещиков, — все это никак не вязалось с глубоко укоренившимися взглядами крестьян на систему общественного хозяйства, логически вытекавшими из практики натурального хозяйства.

Идея «жить трудами рук своих» вышла, несомненно, из недр натурального хозяйства, как и идея о греховности торговать землей. Великое моральное, лежавшее в основе, начало этой идеи, в применении к отдельной личности и в системе денежного хозяйства, вело и нередко приводило людей к абсурду, к узкому индивидуализму, к анархизму, — так как даже при господстве натурального хозяйства в настоящее время не только отдельный человек, но и семья и целая община н е в с и-

лах жить трудами рук своих. Для этого нужна обширная кооперация людей.

Между тем, люди, односторонне захваченные моральным началом этой идеи «жизни трудами рук своих», ударились впоследствии в «богочеловечество» и «толстовство», бросившись создавать коммунистические трудовые колонии в Америке и в России. Они равно не терпели денег...

И мы, дети, склонны были скорее примириться на том, что крестьяне обяжутся давать и доставлять барину дрова миром, и отбывать службу кучера, садовника или повара натурой, чем переводить земли и эти службы на деньги и устанавливать за них выкуп. Деньги считались очень редкой и дорогою вещью, — «дороже своего горба».

XXII

МАНИФЕСТ О ВОЛЕ

Манифест 19 февраля 1861 года, как известно, составлялся довольно долго: он писался, исправлялся, переписывался; в него вносили новые поправки, и в конце-концов из-под великопостного пера митрополита Филарета, который был ярым противником освобождения крестьян, манифест вышел такой туманной и вычурной редакции, что пониманию широких народных масс оказался совершенно недоступным.

Слушая в церкви или на сходе манифест 19-го февраля, крестьяне решительно ничего не понимали. Требовались тотчас же комментаторы, истолкователи, переводчики... Отсюда и бесконечная путаница при взаимной подозрительности между «господами» и «мужиками», на которых была разделена вся тогдашняя Россия.

Все — и крестьяне, и дворяне, и вся Россия —

говорили о «воле», о «вольных» крестьянах, и так и понимали в первое время всякую бумагу, исходящую от престола или от правительства, и вдруг через некоторое время крестьяне узнают, что их из «вольных» переименовали во «временно-обязанных». Одно это обстоятельство впоследствии порождало множество недоразумений.

XXIII

НАКАНУНЕ

Когда читали и читали ли у нас в церкви манифест 19 февраля, я решительно не помню. Если и читали, то в церковь я попасть, очевидно, не мог и, может быть, поэтому о чтении манифеста в церкви ничего не помню. Ясно, что никакой особой сенсации чтение в церкви не вызвало. Зато я помню гражданское, так сказать, провозглашение воли, сделанное каким-то чиновником в мундире, ездившим из села в село. Читал ли он манифест или какую-нибудь другую бумагу, сказать не могу. Волнение вызвано было не содержанием прочитанного документа, а, с одной стороны, предшествовавшим настроением и ожиданием объявления воли, и с другой, — теми простыми и ясными словами, с которыми чиновник обратился к крестьянам, поздравляя их с царской милостью и с данной «волей».

Накануне этого знаменательного дня, рано утром с барского двора разнесся слух, что «завтра» приедет какой-то начальник «объявлять волю крестьянам». И действительно, днем староста получил приказ: на завтра собрать сходку на барском дворе, утром, до обеда, для чего и должен известить крестьян своевременно.

Отправились десятские с подожками стучать под окнами:

— Эй, Сидор!.. Иван!.. Тетка Акулина!.. Завтра утром на барский двор!.. будут волю объявлять!..

Нет, то не подожек стучал, то гудел соборный колокол под каждым окном!..

При первом-же ударе под окном, словно электрическая искра пролетела по всему селу...

... Давно уже у всех звенит в ушах: «Эй!.. завтра волю объявлять!..» С каждым новым двором переменялись только имена домохозяев, во всем остальном подожек гудел попрежнему, как колокол, все сильнее и короче: «Эй!.. Завтра воля!.. Завтра воля! воля! воля! воля!..»

— Воля... прокатилось по всему селу.

И хотя многие домохозяева встречали десятника самолично, стоя на улице, у калиток и ворот своих домов, но на этот раз десятник, не обращая на это внимания, подходил к окну и формально стучал, называя одного из старших членов семьи, без различия возраста и пола.

К строгому выполнению своих обязанностей десятника побуждала все возрастающая вокруг него толпа ребят, из коих многие забегали далеко вперед от десятника, предваряя его пришествие и оповещая домохозяев заранее о радостном событии. Возвратившись назад и сопровождая десятника, мы вновь останавливались вместе с ним у каждой избы и в сотый раз с неослабным вниманием выслушивали его певучие призывы, нередко подсказывая ему имена наличных членов домохозяйства.

— Ах, девоньки!.. Ах, бабыньки!... Воля, слышь, завтра объявится!... в сотый раз сообщали друг другу всем известную новость девки и бабы.

— Дунька, а Дунька!.. Что это Иван с подожком ходит?.. Аль наряд какой?.. спрашивает глухой, весь трясущийся дед свою правнучку.

— Волю, дедушка, объявлять будут!.. На сходку

наряжают!.. кричит из всех сил Дунька на ухо старику.

— Как волю?.. чего волю?.. Что ты зря болтаешь... Дурочка!.. Чего ты врешь?.. Дедушку обмануть хочешь?..

— Нет, дедушка!.. Вот те крест, взаправду!..

— Дурная ты!.. Ишь, чего выдумала!.. — заходил ходуном старик от усиленной тряски. — Подь, покличь ко мне Гараську!.. Право, дурная...

И старик до тех пор не мог успокоиться, пока его сын, шестидесятилетний Гараська, не подтвердил сообщение девочки.

Короче сказать, настроение крестьян накануне «объявления воли» было приподнятое, необычное, но сдержанное и до некоторой степени тревожное. Каждый с утра до ночи был занят какой-нибудь работой, которая мешала настроению села вылиться в какую-нибудь общую внешнюю форму.

А к вечеру проявилось даже неудовольствие, когда узнали, что по приказу с барского двора сделан большой наряд подвод для отвозки хлеба за 15 верст на барскую мельницу.

— Небольно, чай, к спеху... Для такого-то дня можно бы и отложить, — говорили недовольные.

Тихо спустилась на село и медленно пролетала по нему мягкая, теплая, темная и трепетная ночь...

XXIV

УТРОМ

То было в то благодатное время, когда из всего поднебесного пространства я знал только три страны света: восход, закат и полудни; когда я не знал еще, что существуют разные года и разные месяцы в году; когда я уже знал, однако, все четыре времени года: в е с н у, когда не очень жарко, л е т о,

когда очень жарко, **осень**, когда не очень холодно, и **зиму**, когда очень холодно и можно кататься на салазках.

То было в то безмятежное время, когда из семи дней в неделе я знал только три: воскресенье, — потому что праздник, среду и пятницу, — потому что в эти дни нам не давали ничего скоромного: ни мяса, ни яиц, ни молока. Лишь много спустя к этому присоединился понедельник, — потому что это был «тяжелый день». Но мы, дети, не знали порядка их следования и покорно относились, когда нам сменяли рубашку или мыли голову и когда нам ставили на стол то кашу с молоком, то картошку с постным маслом или квас с кислой капустой, с хреном, редькой и солеными арбузами или огурцами. Хлеб разрешалось есть ежедневно, а посему он и не представлял для нас ничего поучительного.

День разбивался на три главные упряжки: завтрак, обед и ужин. Ночь предназначалась для того, чтобы доделать то, что люди не успели сделать днем; а остаток от сего шел на сон, на отдых и на все прочие удовольствия.

И вот, в памятное утро того великого дня сама природа, глядя на людей, распустилась широкой улыбкой. В тот год была ранняя весна. Снег дружно сошел с полей. Было сухо и тепло. Когда красное, красное солнце, еще неумытое и не совсем причесанное, продрало глаза и бросило беглый взгляд на наше село, — все, и стар и млад, — все, кто могли стоять на ногах или на четвереньках, уже стояли, двигались, копошились...

Вся скотина на селе, ждавшая своего выгона в стадо, грудные младенцы и их матери, каждый по своему, — громко славили наступающее утро.

И мы с сестренкой еще до восхода солнца вышли на двор и умылись — или скорее — намочили лицо холодной водой из висевшего на дворе чугунного

рукомойника с двумя носиками. Добрая мама тщательно «разодрала» нам «космы» своей большой деревянной гребенкой, предназначенной для расчески кудели, после чего наши головы неожиданно приняли праздничное настроение.

Едва мы успели окончить свой утренний туалет, как вдоль улицы брызнули первые лучи восходящего солнца. Мы тотчас же бросились из избы на улицу.

Словно по уговору, один за другим из калиток разных дворов стали появляться русые и белые, как лен, головки наших товарищей, мальчиков и девочек.

Быстро все ребята сошлись и спелись по всей улице. Было решено тотчас после завтрака всем ребятам идти к барскому двору и — если можно — заранее занять на нем все щели, углы и закоулки.

Сговорившись, все разошлись по домам, где матери и взрослые, в свою очередь, торопились ранее обыкновенного покончить свои утренние работы, чтобы быть свободными и идти на барский двор.

Настроение у всех было возбужденное. Работа исполнялась быстро, но машинально: она не захватывала души: все мысли и чувства рвались к барскому двору.

XXV

МИМОЛЕТНАЯ ТУЧКА

Кое-где сердито скрипели и хлопали ворота, пропуская лошадей, запряженных в телеги с пустыми мешками, цыновками, пологами и войлоками. То выезжали в наряд на барщину те недовольные, которые в столь торжественный день должны были ехать за пятнадцать верст на барскую мельницу.

Они рвали и метали... ругали лошадей, ругали семейных, ругали приказчика и барина, ругались меж собой. Никто не думал унимать их, потому что при первой просьбе «ругаться и кричать потише», они только «раскрывали рот шире варежки» и костили всех без разбору. Большинство из них были еще молодые парни. Степенные люди уговаривали ехать беспрекословно. «Может быть, в последний раз из подневольки-то, — утешали они: — воля все равно не уйдет от вас».

Мало-по-малу привычка к работе взяла свое; физическое напряжение при насыпке хлеба, необходимость уделять некоторое внимание в процессе самой работы, — все это отвлекало горькие мысли от больного вопроса и вносило успокоение, так что в конце-концов образовался довольно длинный обоз, который и двинулся из села.

Только один из недовольных возчиков ни на одну минуту не мог успокоиться. То был мой двоюродный брат, Петруха, по прозванию Сухланка. Проезжая по селу, он все время продолжал кричать и ругать приказчика за то, что тот распорядился «гнать» людей в такой день; а своих товарищей — за то, что они согласились ехать на мельницу.

— Тише, ты, Петруха... Не дери так глотку... Ведь, на барском дворе слыхать, как ты их костишь. Смотри, после не покаяться бы...

— А мне наплевать... ступай, донеси кому хочешь. Скажи ему, душегубу: когда-нибудь захлебнется он нашими слезами!..

Это обстоятельство сначала сильно обескуражило оставшихся в селе. Но мало-по-малу первое впечатление изгладилось, и перед всеми встала одна и та же мысль:

— Века терпели, потерпим еще немного... Еще

несколько часов, — и одряхлевшему крепостному строю придет конец...

И вся эта тревога, как мелкая рябь на поверхности большой реки, появившаяся от набежавшего ветерка, вмиг исчезла, и в селе наступила торжественная тишина. Совсем как на реке: ветер упал, улеглось волнение, и широкая, полноводная река спокойно несет к открытому морю свои глубокие воды...

XXVI

НА БАРСКОМ ДВОРЕ

Наш ребячий завтрак совершался обыкновенно у всех по одной и той же системе. После утреннего сборища на улице, мы расходились все по домам, как раз к тому времени, когда хлеб вынимается из печей. Если, благодаря увлечению игрой, мы пропускали торжественный момент вынимания хлеба из печки, то матери шли сами, или посылали когонибудь из семьи — кликнуть ребят «завтракать». Если, проголодавшись, мы прибегали домой раньше времени, то терпеливо ждали, стоя у печки, когда мать начнет вынимать лопатой хлеб.

Только что вынутый из печки хлеб нельзя есть, потому что он очень горяч и обдает лицо паром, как кипятком... Когда мы были очень голодны и начинали хныкать, глядя на горячие «пироги», мать спешила остудить хлеб, разрезав его крест-на-крест на четыре горбушки. Получив, затем, каждый по ковриге хлеба, мы все выбегали на улицу и там ели в компании и на виду у всех. Здесь каждый старался показать свой товар лицом, поддержать репутацию своего хозяйства и честь хозяйки дома. Здесь мы узнавали, — у кого что пекли, у кого из хозяек удались хлебы, у кого «закисли», или

«плохо поднялись», у кого был пшеничный хлеб, у кого ржаной и у кого «мешанка».

На этот раз все шло ускоренным темпом: раньше протопились печи, раньше вынуты хлебы. Схватив по ковриге горячего хлеба, каждый из нас спешил на улицу, а с улицы на барский двор. Около ворот барского двора уже виднелись маленькие бродяги с других концов улицы, — и также с ковригами и ломтями хлеба в руках.

Когда мало-по-малу нас набралась изрядная артель, мы стали делать рекогносцировки и заглядывать внутрь обширного двора. Направо, в углу и в глубине двора, близ каменной конюшни, были кучей сложены бревна. Пошептавшись друг с другом, мы, один по одному, стали пробираться по двору к этим бревнам. Подобно стае воробьев или скворцов, мы скоро густо облепили бревна со всех сторон. По двору проходило много людей, — дворовых и крестьян, мужчин и женщин, — все нас видели, но никто не ругал, никаких замечаний не делал, и мы стали смелее, стали бегать и гоняться друг за другом.

Во время погони один малец, спасаясь от другого, пытался укрыться за проходившей мимо него женщиной, несшей обеими руками крынку молока. Нападающий, желая схватить свою жертву, толкнул женщину так, что она пролила немного молока на свой передник.

Женщина остановилась, посмотрела на крынку, на свой передник и потом на всех нас, объятых ужасом. Она была, очевидно, очень добрая женщина, потому что, увидев наш необычный испуг и догадываясь, зачем мы пришли, она ограничилась только ласковым замечанием:

— А вы, ребятки, потише... Сидите смирно, а то, пожалуй, вас и со двора выгонят...

Сказала и ушла во флигель. Мы все признали

ее замечание совершенно основательным и потому некоторое время сидели смирно, боясь двигаться. Потом... молодость взяла свое, — и мы мало-по-малу вновь одерзели. Один толкнул другого локтем, а тот ему ответил целым плечом; первый пустил в дело кулак, но, опасаясь усиленного возмездия со стороны другого, решил уклониться от удара и удрать безнаказанно. Расчеты оказались неверными: потерпевший решил во что бы то ни стало оставить последнее слово за собою, и началась снова погоня. На этих глядя, принялись и другие. Началась шумная возня.

Только что мы стали было во вкус входить, бегая друг за другом, как видим: из того флигеля, куда скрылась женщина с крынкой молока, вышел пожилой человек из дворовых. Медленно направляясь в нашу сторону, он видел, как мы все перепугались, съежились и как бы застыли, затаив дыхание. Проходя мимо нас, как будто по своему делу, он остановился, ласково так посмотрел на нас и еще того ласковее сказал:

— Ну, что, старички, небось, волю слушать пришли?.. Что же, — доброе дело, что пришли. Только раненько, пожалуй... Долго ждать придется. Начальник еще не приехал. А, впрочем, коль не скучно, — ждите... Чего вам делать-то... Играйте, никого не бойтесь: ни приказчика, ни самого барина. Только одного, ребятки, остерегайтесь: как бы Азей не пришел. Знаете Азея?.. Лохматый такой, с большой бородой? Вы, чай, знаете его карахтер-то?.. Всем бы человек ничего, а вот ребят кучей видеть не может... все ему скворцы мерещутся... Как только увидит кучу ребят, сейчас у него глаза кровью наливаются, взбесится, словно собака, и первым делом — на четвереньки становится. Мы эту манеру его давно уже знаем. Как только встанет на четвереньки, мы, вот и взрослые,

и то поскорее давай Бог ноги. Потому что в бешенстве-то, — сами понимаете, — человек не помнит ничего: либо укусит, либо палкой, либо топором, а то из ружья убьет. Вот, на случай, его поостерегайтесь. А так — ничего... Играйте, ребятки, на здоровье. Он, может быть, сегодня и совсем не придет...

Сказал и пошел себе потихоньку дальше. А у нас у всех уж мороз по коже дерет... Сидим да по сторонам озираемся, — нейдет ли Азей. Кто ни пройдет с бородой, а нам уж Азей представляется. Убежать бы поскорей!.. да кучей-то опять нельзя: а вдруг Азей попадется!..

Так мы тем же порядком, по одному да по двое тихонько да полегоньку, вдоль стенки, да к воротам. И каждый все думает: пронеси ты, Господи, только за ворота, на улицу... А там и Азей не страшен...

Жутко было первым-то идти в одиночку... Ну, да и тем, что принуждены были оставаться и ждать своей очереди, — тоже не слаще было!..

Ничего, однако... Посчастливело, — благополучно до дому добрался. Рассказываю про нашу неудачу маме. А она:

— Это, — говорит, — кто-нибудь пошутил над вами. У Азея только борода страшенная, а сам-то он добрый. Ведь, он тебе дядей доводится. Глупый ты... зачем он тебя будет кусать да убивать?

Однако, меня это мало успокоило. Хоть он мне и дядя, — думаю себе, — а все-таки зачем же на четвереньки-то становится?.. Нет, уж лучше подальше от него.

Так из нас, ребят, в этот день внутрь барского двора никто и не пошел.

Но волю слышать попрежнему страшно хотелось.

XXVII

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ

Давно прозвенели колокольчики, давно бешено пронеслась тройка, давно уж валил народ со всех сторон, направляясь к барскому двору, который был давно уж наполнен народом. Внутренность двора была занята больше стариками и взрослыми мужиками. Молодежь и ребята стояли позади ворот и вне двора, прижавшись плотной массой к низкой каменной стене с высокой деревянной решеткой. Почти все старухи, бабы, девки и дети, стоявшие внутри двора, принадлежали к семействам дворовых людей. Здесь же, за оградой, любознательное человечество, в конце концов, выстроилось приблизительно в таком порядке: около самой решетки — дети, мальчики и девочки, вместе со старухами; дальше следовали девки-невесты, молодухи, пожилые бабы и позади — молодые парни, которые переходили с места на место или залезали на крыши амбаров, откуда только и можно было видеть барский двор.

Что касается до нас, детей, то мы вскоре уступили свое место одним старухам, взобравшись на каменную стену и облепив густым живым плющем всю деревянную решетку. При такой диспозиции нашей все надежды остального, стоявшего за нами человечества — бросить хоть раз беглый взгляд во внутренность двора — совершенно исчезли. Задние ряды лишь по движениям и возгласам передних догадывались о происходящем во дворе.

Вскоре, однако, как-то само собой установился особый способ сообщения передних рядов с задними, как во дворе, так и вне его — в форме метко брошенного слова или краткой фразы, характеризующих положение дел. Эти слова, начинаясь у крыльца, передавались дальше, чисто машинально, как воско-

вые свечи в церкви передаются к иконам. По этому, своего рода беспроволочному телеграфу, уже доносились вести: «Самовар подали!» «Чай кушают!..» «Отпили!..» «Закуску понесли!..»

В ожидании дальнейших новостей молодежь принималась шушукаться, подталкивать друг друга, кой-где прорывался даже смех, быстро заглушавшийся, однако, строгими окриками со стороны старых и пожилых людей. Очевидно, в общем, настроение было молитвенное, как в церкви или на открытом воздухе при подъеме икон.

Во время этого томительного ожидания и произошла упомянутая выше перетасовка стоявшей за решеткой публики. Парни не хотели стоять, ничего не видя, и удалялись в задние ряды на простор, образуя там однородную компанию. Мы, ребятишки, остались по соседству со старухами и под их надзором.

Бабушка Аксинья, опираясь на клюку, неотступно держала другой рукой за ногу свою внучку Феньку, влезшую рядом со мной на решетку. Как вскоре оказалось, это единение руки с ногою объяснялось не одними родственными чувствами, боязнью, как бы Фенька не сорвалась с решетки: бабушкина рука очень часто и довольно сильно дергала внучкину ногу, желая допытаться от нее, что делается внутри двора.

— Фенька, а Фенька!.. Что, видно что-нибудь?.. Ты на крыльцо-то глянь, на крыльцо...

— Нет, бабушка, — ничего не видать. Крыльцо пустое... только мужики... которы в шапках, которы без шапок стоят, — сообщает Фенька.

— Это, знать, дворовые... в шапках-то, — внушала внучке бабушка.

— Ты бы присела, бабушка Аксинья... Долго ждать-то... устанешь. Твое дело старое, где тут

тебе выстоять. А то лучше бы домой шла, — говорили молодые.

— Послушать-то хотелось бы, коли довел Бог дожить.

— Услышишь и дома, мы твою долю тебе целиком принесем.

— Вам все смешки да хахиньки, ребята... А мне самой хотелось бы послушать, пока Господь уши не заложил, — защищалась старуха.

— Да что уж тут, баушка, греха таить... Если по совести сказать... Ну, на что тебе воля теперь?.. Ведь, все равно скоро помирать придется, — подзадоривал старуху молодой шутник.

— Христос с тобой!.. Что ты говоришь... Не очень-то, парень, фыркай... Никто не знает, что у Бога-то в книге живота написано. Никто не знает, кто из нас до завтра доживет... Так-то... А к тому же и не о себе хлопочу... Вот этих жалко. Ты не знаешь, сколько их у меня? — и она указала на внучкину ногу.

— Ты иди, прежде молоко на губах оботри, да тогда и приходи зубоскалить, — вступились за бабушку Аксинью другие старухи.

— Чай, Аксинья-то твоему отцу в баушки годится, а ты зубы скалишь...

— Бог с ним... Бог с ним... — говорила удовлетворенная старуха, и вновь задергала ногу своей внучки.

— Феня... Феня... Скоро ли?..

— Видно, скоро, баушка... «Откушали», бают.

— Ну, слава тебе, Господи!.. — шепчет старуха.

— Выходят!.. Должно быть, выходят!.. Все шапки сняли!... — раздаются голоса с решетки.

Словно по команде, все головы мужчин обнажились и на улице, и даже на площади, а женщины начали креститься.

— Один барин... Только один... С бумагой... — вновь раздались сдавленные голоса с решетки.

— Фенька!.. Фенька!.. Чей барин?.. Наш барин?..

— Нет, баушка, другой, чужой... Толстый...

— На крыльце чужой барин!.. Один!.. С бумагой!.. — покатилась дальше от решетки к площади Фенькина версия.

— Читает!.. — гремела решетка.

— «Крестись, православные...» — прокатилась весть от крыльца.

Все пали на колени и крестились, глядя на церковь и на небо.

Потом поднялись, и настала таинственная тишина!.. Масса народа, и ни единого звука!.. ни малейшего шума!.. Только время от времени галки и грачи нарушали воцарившуюся тишину, и тем лишь резче подчеркивали великое таинство, совершавшееся в сердцах людей в этот чудный момент.

Продолжительное молчание, напряженные нервы, не улавливавшие никакого содержания, утомили людей. Наружные вновь стали взывать к решетке, прося каких-нибудь сведений со двора.

— Фенька, а Фенька!.. Что там идет?..

— Читает, все читает, баушка, — отвечает Фенька.

— А народ-то как? — на ногах или на коленях стоит?...

— На ногах, баушка.

— Уж долго больно, чего-то... — ворчит старуха.

— А ты, баушка Аксинья, волю-то не укорачивай... Чем дольше, тем, значит, воля больше... Устала, знать? Говорили, ведь, тебе: домой бы шла, — подшучивал тот же молодой зубоскал.

На этот раз положение бабушки Аксиньи было

довольно щекотливо, и ни одна из старух не поддержала ее.

Но вот какой-то протяжный, тяжелый и глубокий вздох вдруг вырвался словно из-под земли и пронесся по всему двору.

— Вольные!.. Вольные!... Мы вольные!..

— Фенька!.. Фенька!.. Что такое?.. Что кричат?.. Зачем кричат?.. — дергала немилосердно бабушка Фенькину ногу.

Наружные с жадностью ждали разъяснений от решетки.

— Кончил читать, бабушка... Бумагу сложил. Чего-то мужикам говорит... Все на колени пали... Богу молятся!..

— Кончил!.. Кончил!.. — кричала решетка.

— Ушел в дом!.. — дополняла она.

И вскоре из пасти широких барских ворот повалила толпа на улицу, на площадь.

Наружные подхватывали «очевидцев», отводили их с пути человеческого потока и принимались расспрашивать, особенно тех, которые похвалялись, что стояли поблизости от крыльца.

Около одного заведомого грамотея, прошедшего всю церковно-славянскую азбуку и умевшего читать псалтырь по покойникам, собралась на площади огромная толпа, обступившая его кольцом. Все с жадностью прислушивались к его словам, не исключая и тех, кто сам был «очевидцем».

— Вот, значит, вышел это царский начальник и начал читать царскую грамоту.

— А чего в грамоте-то?.. — слышались нетерпеливые голоса.

— Да все насчет воли, все насчет воли... И то, и се... Все, значит, про наше житье говорится. Всего-то и не пересчитать. Сами видели, как долго читал... А только, значит, дочитал все до конца... Сложил грамоту да и говорит...

— Ну, — говорит, — православные мужички. Теперь уж я от себя вас всех поздравляю с царской милостью. Молите Бога за здоровье Царя-Государя, потому что теперь вы стали вольные. А насчет того, как дальше жить, то Царь-Государь вам особое положение прислал. Все обчества по всей Расее его получат. Получите и вы. А пока, — говорит, — с Богом, по домам!..

— Как?!.. Начальник так и сказал, что мы теперь вольные? — вновь переспрашиали наружные.

— Да! да!.. Это правда!.. Верно!.. Точно! — кричали очевидцы, подтверждая сообщения рассказчика. — Все слышали!.. Так прямо и сказал: — Поздравляю, говорит. Молитесь за Царя!.. Теперь вы вольные!..

Вдруг словно плотина прорвалась. Стоном застонало все село.

— Вольные!.. Вольные!.. Мы вольные!..

. . . .

И вот, после многих веков непросветного отчаяния, у многострадального народа русского впервые в его истории полились из глаз сладкие-сладкие слезы веры, надежды и... всепрощения.

Великий исторический документ, манифест 19-го февраля 1861 года, сам по себе является лишь внешней эмблемою уничтожения крепостной зависимости; в действительности, великое таинство претворения «крепостной» души в «вольную» совершилось в самых недрах народного сознания и именно в тот торжественный момент, когда по всему лицу земли русской у народа выступили на глазах эти сладкие слезы. Они, а не что иное, навеки погребли в русской истории кромешный ад крепостного права...

После этих слез можно было попрежнему совершать над крестьянами какие угодно жестокие

насилия, но отныне в народном сознании эти насилия уже утратили аттрибуты признанного наследственного права или бесправия: насилие отныне стало признаваться и называться произволом, наличность и формы которого стали зависеть исключительно от соотношения и организованности материальных и духовных сил в стране.

XXVIII

НАРОДНЫЕ СЛЕЗЫ

Как мне хотелось бы закончить мой скромный отчет о виденном и слышанном в момент падения крепостного права этими добрыми и сладкими народными слезами!

Кто не испытывал на себе, стоя над гробом даже чуждого человека, как невольно и заразительно выступают слезы на глазах при виде неподдельного горя со стороны близких родных и друзей покойного?

Народное горе, как и народный смех, тоже заразительно.

И как не плакать!..

Вот целая группа плачущих старух стоит на коленях близ церковной ограды и молится, глядя на церковный крест. Среди них бабушка Аксинья, заливаясь слезами, громко говорит свою самодельную молитву:

— Матушка Владычица! Пресвятая Богородица!.. Заступница Ты наша!... Дошли, знать, до Тебя наши слезыньки!.. Услышал нас царь-батюшка и царица-матушка!.. Привел нам Господь дожить до великой радости!.. Спаси, Господи, и помилуй всех нас, грешных! Не оставь своей милостью!...

Плакала бабушка Аксинья, молча плакали другие старухи и бабы, присоединяясь мысленно

к громкой молитве бабушки. Плакала стоящая рядом Фенька, плакали другие дети. Плакал и я...

Радостно на душе, а плачешь... заразительно, неудержимо плачешь...

Да... Так хотелось бы закончить свое повествование на этих сладких слезах... Пусть последующие десятилетия сами расскажут о своих радостях и горестях, надеждах и разочарованиях... Хотелось бы...

Но требования исторической правды заставляют меня нарушить идиллию и детскую наивную народную радость первого вольного дня упоминанием об одном негромком, но многознаменательном событии.

В день объявления воли, когда народ разошелся уже по домам, на барском дворе, по приказу не то барина, не то приказчика, — хорошо не знаю, — высекли моего двоюродного брата Петруху Сухланку, о котором говорилось выше.

XXIX

ТУЧКА РАЗРАСТАЕТСЯ

Дело было так. Ехать на мельницу приходилось верст 5 полем и около 10 — лесом. Отъехав версты две-три от села, Петруха остановил свою лошадь, заявив, что он дальше не поедет и вернется назад... волю слушать.

После многих просьб и уговоров кое-как уломали его и поехали дальше.

При въезде в лес он вновь остановился и решительно заявил, что дальше не поедет.

Снова уговоры, снова чуть не силком потащили его далее, приводя всевозможные резоны и, между прочим, то, что воля не уйдет, и что уж лучше бы с места никому не трогаться...

Поехали дальше. Но у Петрухи нетерпенье возрастало по мере его удаления от села. На какой-то

версте его терпенье, наконец, лопнуло, и он, ни слова не говоря, отстегнул свою лошадь, сел верхом и, не сказавши «прощай», понесся назад в село в слабой надежде застать еще волю...

Воли он, кажется, не застал, но приехал достаточно во время, чтобы попасть на конюшню...

Это происшествие и, особенно, наказание розгами тотчас после объявления воли никак не вязалось в головах крестьян с новым положением вещей. Но всеобщее молитвенное настроение и ликование способны были заглушить или сдобрить сладкими слезами какую угодно индивидуальную горечь.

Лишь много позднее, когда острое ликование прошло, и начался период недоумения, когда Петруха, добиваясь «правды», не давал никому покою, крестьяне вместе с ним стали спрашивать разных лиц: может ли барин сечь и наказывать вольных людей?

В одно из воскресных собраний, наш почтенный о. диакон, на запрос по этому делу, в утешение крестьян так истолковал мнение местного благочинного:

Поелику Петруха Сухланка совершил предосудительное деяние до законного объявления царской воли, то и следуемое за сие возмездие надлежало выполнить по уставам древнего благочестия.

Но... Довольно!

— . —

Русский народ вступал в новый исторический период, который можно назвать периодом искания правды у высших, периодом посылки ходоков. Этот период закончился манифестом 17 октября 1905 года...

25 декабря 1910 г.
СПБ. Дом предварительного заключения.

ПОД КАРСОМ

После чудной божественной Делижанской долины, после Александрополя открывается тоскливый вид на широкую бесплодную равнину, усеянную, как стадом овец, белыми камнями. Слева, на отдаленном горизонте, равнина окаймляется чуть видными горами, уходящими к Арарату; прямо на восток равнина ведет к памятному для русских Саракамышскому перевалу; только с правой северной стороны глаз упирается в ребро отдельно стоящего горного хребта, длиною в пять или шесть верст, с рядом высот, на которых воздвигнуты мощные карсские укрепления. Только продвинувшись к середине хребта, становится заметным, что этот изолированный хребет имеет форму слабо выгнутого полукруга, в центре которого расположен город Карс. Таким образом, справа и слева над Карсом высятся грозные естественные укрепления, а со стороны равнины идет ряд искуственно возведенных фортов, соединенных непрерывной линией окопов, что, вместе с горными укреплениями, делает Карс неприступным. Со стороны Александрополя, круто поднимающийся хребет начинается двумя укрепленными высотами, Карадах и Араби-паша, которые, при штурме Карса, 6 ноября 1877 года, были взяты 40-ой дивизией: Имеретинский и Кутаисский полки взяли страшный Карадах, а Гурийский и Абхазский полки заняли не менее грозный «Араби-паша». Полкам, при всеобщем и одновременном наступлении по всей линии, приходилось лезть на горы ночью, подкрадываться тихо, молча, в лихорадочном напряжении...

Только к утру, когда успели подползти к линии «мертвого пространства», передние ряды не выдержали строгого приказа молчать — вскочили и во всю глотку закричали «ура!» Открытый крепостью огонь поражал только ползущих сзади... Нападение было столь неожиданным, что турок охватила паника, и они, после штыковой схватки, «постыдно бежали»... Самим русским солдатам столь легкое взятие этих укреплений казалось до того невероятным, что они приписывали его «измене» турецкого коменданта и «подкупу» командиров хитроумными армянами — нашими главнокомандующими — генералами Лазаревым и Лорис-Меликовым.

Город Карс расположен в центре горного амфитеатра. Если смотреть со стороны равнины, видно, как в верхней части города, на фоне горного хребта, поднимается гигантская каменная скала, с геометрически правильными, весьма искусно вытесанными уступами, заканчивающаяся высокой треугольной каменной площадкой, по углам которой размещались три дальнобойные пушки. Ниже идущие каменные ступени в действительности представляли собою вытесанные в скале брустверы, в толстых стенах которых, кроме амбразур для пушек, были устроены хорошо защищенные склады для провианта и снарядов.

Сколько раз мне приходилось стоять на часах на вершине скалы, на этой замечательной треугольной площадке, для охраны трех пушек... Вид оттуда — бесподобный. Город и вся равнина, с расположенными на ней многочисленными фортами внизу, видны, словно на ладони...

Склады Карса оказались наполненными превосходными, хорошо выпеченными маисовыми «галетами» — небольшими, но толстыми лепешками, которые даже нашим офицерам казались необыкновенным лакомством по сравнению с нашими стекло-

видными ржаными сухарями. Для бодрости и лучшего пищеварения нам, солдатам, и всем нижним чинам, время от времени выдавали по стаканчику водки, особенно при трудных переходах.

Хорошее, веселое было время!..

*

Заключено было перемирие. Возродились надежды на скорое возвращение домой. Несмотря на наступающую осень, в пустынной и каменистой равнине Карса стояли жары.

— Чего без толку стоять, рассуждали солдаты: наклали туркам в загривицу, выпугнули из них блох, — ну, и по дворам пора!

— Дура твоя голова, вступается всезнающий ефрейтор: — к бабе захотел!.. Тебя не спросились... Не понимаешь того, что австрияк гадит!.. Не торопись... Может, еще придется и ему насыпать. Ишь ты, — домой захотел!..

*

Вдруг, как гром, прокатился слух, что получен приказ готовиться к походу в Россию, домой. Забились сразу усиленно слишком сорок тысяч сердец... Перед походом ожидают только приезда генерала Лазарева, который должен осмотреть части и проститься с войсками.

Кто первый счастливец? Кому выступать первому?...

Солдатская справедливость уступала первенство Московскому гренадерскому полку, который потерпел страшный урон при атаке Карса...

Не помню порядка отхода, но только дошла очередь и до нашего стрелкового батальона 159 Гурийского пехотного полка.

На «завтра» назначено выступление...

Несчастные шпаки!.. Где вам понять, — что значит слово: «домой!»...

*

Прощай, Карс!.. прекрасный, божественный, с черноокими армянками и турчанками, и турецкими банями, в которых могучие турки саженного роста всех попадавших туда победителей подхватывали на руки, клали на полки, безжалостно терли, мяли, обливая попеременно то кипятком, то холодной водой, и затем, доведя своих жертв до потери сознания, относили в уютные прохладные раздевальни и бережно клали на диваны, покрытые белоснежными простынями, для оживления...

Начинаются сборы... Солдаты набивают битком свои ранцы всевозможной посторонней дребеденью: прекрасными турецкими офицерскими револьверами, медной и серебряной посудой... Все это в первый же день или через несколько дней все равно придется выбросить по дороге или отдать, если не продать, первому встречному...

*

С раннего утра солдаты надевают на себя ранцы и скатанные шинели, ходят с такой поклажей по четверти часа, «примериваясь», пытая себя заранее, как тяжело и есть ли надежда «вынести» и «претерпеть тяготы хождения». Многие самонадеянные смеялись над малодушными и гоголем расхаживали по лагерю с набитыми ранцами, за что получили заслуженное возмездие в тот же день, ибо им пришлось уже на первом переходе постепенно выкидывать из ранцев принакопленное турецкое добро, неполадившее с казенными принадлежностями...

— Рота, стройся!.. —

Прощай, Карс!.. Прощай, черноокие!.. Чтоб вам пусто было!..

— Шагом... арш!..

Забил барабан... Отряд вытянулся и зашагал...

*

День обещал быть жарким. Дорога от Карса —

ровная и пыльная. Задним рядам и особенно идущим в середине приходилось очень тяжело. В качестве унтер-офицера, мне можно было отходить в ту или другую сторону, смотря по тому, откуда веял ветерок, относивший докучную пыль.

В каждой воинской части всегда можно встретить весельчаков, пересмешников или удальцов, которым все «трын-трава», которые могут огорчить или рассмешить и ободрить в самые тяжелые минуты жизни, которых все ругают, часто бьют, но без которых, в случае «выхода в расход», вся часть чувствует себя осиротелой.

Таким «чертополохом», как его называли солдаты, в нашей роте состоял Михаил Власов. Он был грамотный и даже начитанный в священном писании и особенно в «житиях святых». Сначала я думал, что он из духовного звания, но потом оказалось, что он значится «старообрядцем». Тем более странно было видеть в нем несравненного «богохульника». Есть люди, которые так привыкают ругаться «по матушке», что им трудно прочитать даже молитву, не выругавшись. Один солдат, живший со мной в одной палатке, часто, среди ночи, в самую мертвую тишину, чихал, сопровождая каждый чёх неизменным возгласом: «Будь здоров, . . . твою так»...

Власов рассказывал бесконечные анекдоты про всех святых, называл их уменьшительными именами; между прочим, Михаила Архистратига называл не иначе, как «тезкой». Все к этому привыкли до того и слава его распространилась так широко, что сами офицеры, «в минуты жизни трудные», заставляли Власова рассказывать его «святые» анекдоты.

Он был здоровый, довольно полный и низкого роста, вследствие чего ему приходилось стоять в задних рядах и на левом фланге. Неоднократно, во время учения ротным построениям, после команды:

«Оправьсь!»..., Власов громко кашлял, чихал, сморкался, затем отделялся от строя, подходил к ротному и, вытянувшись в струнку, просил перевести его с заднего ряда и поставить «правофланговым» в первом ряду.

— Что ты одурел, Власов, — замечал ротный, снисходительно улыбаясь: он знал ухарскую повадку Власова и уже ожидал, что Власов выкинет сейчас какой-нибудь очередной «фортель»...

— Потому больше терпенья нет, ваше балродие! Хлюстин впереди стоит и всё время так воняет, что я в ногу ходить не могу... Уберите меня от него ради спасения отечества...

Ротный смеется, обещает подумать и отпускает Власова с миром.

*

На пятой или шестой версте от Карса жара и пыль начинают давать себя чувствовать во всю. Был сделан привал. Подъехал обоз и особый фургон с кипяченой водой и хлебом. Дневальные подобрали и привезли человек трех, упавших в пути от обморока. Напились. Отрезали по куску хлеба.

От места привала отходила горная тропинка, направлявшаяся к перевалу, который издали напоминал гигантское седло. Наш «квартирмейстер» и повар, хорошо знавший окрестности Карса, сказал, что по этой тропинке можно в два часа дойти до места, где нам предстояло ночевать, тогда как по дороге приходилось сделать не меньше двадцати пяти верст. Вдоль тропинки путь был свободный, подъём издали не казался высоким, крутым и тяжелым. В поле виднелась засохшая трава — значит, даже для эшелона — меньше пыли. Солдаты просили фельдфебеля и нас, унтер-офицеров, упросить ротного позволить пройти напрямик через перевал, чтобы добраться поскорее до ночлега.

Ротный был в духе и охотно разрешил. Почти

вся рота изъявила желание итти напрямик под командой фельдфебеля, а сам ротный, с офицерами и группой слабосильных, последовал с обозом по дороге, в объезд.

Отдохнувши, тронулись в путь без дороги и без всякого строя, назначив по штату специальных дневальных, обязанных следовать сзади и в случае надобности помогать ослабевшим или упавшим... Первые полчаса шли «припеваючи». Опытный фельдфебель запретил петь и советовал меньше или совсем не разговаривать, когда дорога заметно стала подниматься в гору. Он был прав, ибо при походе чрезвычайно важно, чтобы грудь работала правильно, успевая вбирать нужное количество воздуха. При напряженной ходьбе, всякий разговор или пение, нарушая правильность дыхания, вызывает одышку, легкое головокружение, что приводит к общему расслаблению организма. Все это я познал впоследствии при продолжительных хождениях по горам Швейцарии.

Все шло хорошо, пока шли по ровному месту. Оказалось однако, что местность была далеко не горизонтальной: тропинка в действительности поднималась к перевалу под довольно значительным углом, и когда мы приблизились к месту, откуда подъем стал всем заметным, пришлось ступать уже согнувшись и мелкими шажками... Всякие шутки, разговоры и переговоры прекратились без всякого приказа... Коллективность или стадность в настроении и движении сразу исчезла: мысль о согласованном «такте» в движении улетела прочь. Каждый сосредоточивал свои мысли и чувства на самом себе, даже на специальных частях своего собственного тела, главным образом на плечах, легких и ногах...

Я чувствовал это по себе. Чтобы облегчить давление ранцевых ремней на плечи, приходилось

итти «глаголем», как говорили солдаты, — т. е. согнуться так, чтобы вся тяжесть ранца переместилась с плеч целиком на спину...

Многие, проходя мимо торчавших повсюду камней с удобным сиденьем, соблазнялись и усаживались «отдохнуть». Некоторые снимали ранцы и выбрасывали «излишки». Один солдат вытащил из ранца прекрасные офицерские сапоги с стоптанными каблуками, взмахнул ими и с яростной злобой бросил их в сторону, пославши им в догонку тысячи матерей... Несмотря на сильное утомление, проходившие мимо хохотали до упаду и «приваливались» к потерпевшему, чтобы «отдохнуть» и кстати посмотреть — нет ли и в их ранцах чего-либо из «наименее приспособленного»...

Чем дальше, тем чаще из уст путешественников, вместо вздохов, вылетали тысячи чертей и матерей...

Положение ответственных «командиров» — фельдфебеля, унтер-офицеров и особенно мое — становилось необыкновенно неприятным: «особенно мое» — потому, что главным образом это я упросил ротного командира разрешить итти «напрямик», оторвавшись от обоза и лазаретных фургонов, которые обыкновенно во время похода подбирают упавших и обессиливших.

Свой ранец перед выходом я довел до «абсолютного минимума», благодаря любезности ротного командира, который позволил сдать «излишки» в походный «цейхауз». Так что мне сравнительно легче было итти, чем остальным солдатам. И тем не менее я тоже устал до невозможности. Я и большинство унтер-офицеров остались позади, чтобы видеть, что делается в «ариергарде», т. е. среди отставших или упавших. Вся часть оказалась вытянутой в длинную и беспорядочную линию. Был отдан приказ: вместо «дневальных» оставаться при упавших или отставших группам наиболее силь-

ных, и не покидать их до тех пор, пока они не в состоянии будут двигаться. Ранцы упавших и отставших — осматривать и все «излишки», по выбору потерпевшего, выбрасывать...

Так мало-по-малу рота стала подходить к перевалу. Мы, шедшие позади, уже видели, что головная часть достигла вершины перевала и уселась на отдых, ожидая остальных.

Здесь можно было наблюдать не только комические и драматические, но и поистине трогательные сцены. Более сильные освобождали ранцы слабых и раскладывали по своим. В одном случае, у упавшего в ранце оказался вышитый под золото и серебро женский костюм, туго скатанный и перевязанный, который сам владелец решил выбросить. Между тем его товарищ, успевший уйти далеко вперед, увидев, что солдатик опустился на землю и его ранец опоражнивается, поспешно спустился к нам и, подобрав брошенный сверток, положил его к себе в ранец, объяснив, что это заветный подарок для невесты «потерпевшего», который тот приобрел и хранил с большими для него жертвами.

Впоследствии, когда мы стояли в курской губернии, я видел этот костюм во владении счастливого жениха.

Нельзя не отметить и другого эпизода.

Подвигаясь к самому перевалу, колонна стала сокращаться, сжиматься, оседая на его вершине. Вид перевала и картина сидевших на нем счастливцев вливала бодрость и надежду в сердца «последышей», напрягавших все свои силы...

Вдруг я заметил, что неподалеку от перевала, за двести или триста шагов до вершины его, начинает скопляться толпа: подходящие снизу останавливаются, а сверху некоторые поспешно спускаются. Очевидно, что то случилось... Как ни было тяжело,

я собрал последние силы и заспешил, чтобы посмотреть или узнать, в чём дело.

По мере того, как я подходил к месту происшествия, толпа все увеличивалась. Лишь слабые потихоньку двигались вперед, равнодушно обходя толпу.

Когда я подошел, толпа расступилась, и я увидел следующую картину. Посреди тесного круга умиравшей от хохота толпы, лежал на земле, брюхом вниз, Михаил Власов, придавленный туго набитым ранцем, с раскинутыми врознь руками и ногами. В левой руке он крепко держал ружьё.

— В чем дело?, — испуганно спрашиваю я. Отстегни скорее ранец!... Чего вы стоите?..

— Не велит, — смеясь ответил мне один солдат.

— Как не велит?.. Отстегните!..

— Пробовали... Не дает, — ругается...

— Глупости!.. Отстегнуть!...

— Ни за какие коврижки!.. — послышался голос продолжавшего неподвижно лежать Власова.

— Да что с тобой?... Почему не отстегнешь ранца?, — спрашиваю.

— Раскрадут, Егор Егорович... Видит Господь, раскрадут... Предчувствие есть...

Все хохочут.

— Ну, полно тебе дурака валять, — строго говорит один из спустившихся сверху солдат, без ружья и ранца. — Дай растегну, донесу... Перевал рукой подать... Теперь доберешься... Ребята помогут...

— Прочь, нечистый!... К казенному добру не прикасайся, застрелю!..., — зарычал Власов.

— Ну, в самом деле, Власов, — говорю я, полно тебе дурака валять!... Поднимайся!... Ты партию задерживаешь... Перевал — рукой подать. Отдохнуть пора...

— Егор Егорович!... Видит Бог, — невмоготу...

Ох, батюшки!... Ох, матушки!... Братцы вы мои милые... Убирайтесь вы ко всем чертям!... Дайте Богу помолиться... Отец всевышний!.. Господь Саваоф!.. Потряси своей седой бородой!.. Помоги!..

Власов пытается подняться, — и в изнеможении вновь падает, растянувшись на животе.

— Христос воскресе!.. И со духом твоим... Матушка, вселенская церковь!.. Выручайте!..

Власов с каждым воззванием пытается приподняться и в бессилии только дрыгает ногой, да с трудом трясет ранцем на спине.

— Матушка, Пресвятая Богородица... Владычица небесная... Дева... Радуйся, благодатная, и сжалься... Помоги... Пошли Ты своего Гаврилу... Али другого архангела али рядовова ангела... Согласен на херувима и даже на серафима...

Вновь тщетные попытки подняться, снова нога дрыгает и ранец трясется.

— Апостолы!... Угодники вселенские...

Голос его постепенно крепчает, как у заправского протодиакона при чтении Апостола на купеческой свадьбе.

— Родименький, Микола Милосливый!... Неужли и ты не поднимешь?..

— Так на кой же вас ляд, прости Господи, принесло?.. Лодыри!.. Даром хлеб едите! — закончил он твердым и сердитым голосом.

— Нет, братия, не то!.. Недаром в священном писании сказано: «На Бога надейся, а сам не плошай»... Ур-ра!!!

И с этими словами Власов вскочил, взял ружье на перевес, прорвался через расступившуюся поспешно толпу и бегом побежал к сидевшим наверху.

— Что вы здесь прохлаждаетесь, лодыри!.. Пойдемте скорее: обед простынет!.. Кто первый — тому лишняя рюмка из собственных рук!..

Как раз внизу, на дне долины, виднелось, как

на ладони, желанное селение, и ясно различался дым от наших походных кухон.

Власов, ни слова больше не говоря, пустился рысью по крутой, извивавшейся змеей, тропинке.

*

Я был страшно утомлен, но этот эпизод с Власовым и его очередным «церковным служением» так освежил и «оправил» всех нас, даже не отдыхавших, что большинство решило немедленно итти дальше, предполагая, что вниз спускаться легко.

Стали спускаться. Я отобрал, на всякий случай, человек десять более сильных из тех, что достигли вершины раньше, и пошел с ними позади. Сначала спускаться было легко, но вскоре вся тяжесть перешла на колени...

Наконец, мы внизу... Вон кухня, видны котлы. Кашевар снял с одного крышку. Валит пар... Еще пять минут — и мы у цели!

Подхожу к гумнам. Справа и слева стоят копны хлеба, лежат кучи свежей соломы. Ноги гудят и трясутся. В глазах мутно. Хочется поскорее добраться к привалу, сбросить ранец, повалиться на землю и зарыться в душистое сено или свежую солому.

Как раз в этот момент прохожу мимо кучи соломы. У меня подкосились ноги, я упал и заснул, как убитый.

*

Сколько времени я лежал — не знаю. Только открывши глаза, я увидел лицо наклонившегося надо мной Власова, который держал в правой руке большой стакан водки, а в левой — котелок со щами.

— Вставай, Егор Егорович, пора обедать!..

Я с жадностью выпил полстакана и принялся за щи.

— Какое счастье!..

ПЕРЕД ПЕРВОЙ ССЫЛКОЙ

(Знакомство с Л. Н. Толстым)

I

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Мое личное знакомство с Львом Николаевичем началось в 1882 или 1883 году, когда он, с старшим сыном Сережей и его учителем, В. И. Алексеевым, приехал в свое самарское имение в башкирской степи. Прожили мы там две—три недели на лоне природы, в большой, разнообразной и интересной компании.

Имение это не походило на обычные барские имения. Кругом степь необъятная. Ни в имении, ни близ имения нет ни села, ни деревни. Барская усадьба — небольшой флигель с некоторыми службами, да ряд башкирских юрт для гостей и кумысников, которые по знакомству приезжали сюда каждый год, главным образом интеллигенция. Близ дома стояла специальная башкирская юрта, в которой приготовлялся кумыс и в которой специалист башкир угощал всех желающих пить кумыс, — каждого порознь и целой компанией, с раннего утра и до поздней ночи. Казалось, что он имеет неисчерпаемое море кумыса.

Обеды и ужины сводились к формальности, ибо многие из гостей в поглощении кумыса достигали двух ведер в день, после чего у них отлетала всякая мысль об обедах и ужинах. Но все сходились к столу, чтобы повидаться и поболтать сообща. Упившиеся

кумысом кавалеры и дамы теряли всякую ретивость и шли в юрты, спасаться от палящего солнца, или к стогам, стоящим близ усадьбы, и там ложились «отдыхать». Отдых этот заключался в переваривании поглощенного кумыса и в философических перекличках, лежа на спине.

Результаты получались удивительные: вес кумысников рос не по дням, а по часам. Желудками заведывал и управлял кумысный эксперт башкир, специально приглашенный с своим табуном молочных кобылиц. И кавалеры, и дамы — все исповедывались у него, как на духу, о погрешностях в своих желудках. Все болезни он лечил кумысом, который, смотря по надобности, подавал в трех возрастах: молодом, среднем и пожилом. Каждый возраст отвечал соответствующему настроению желудка: либеральному, конституционному и консервативному.

Среди клиентов кумысников, к коим, в сущности, относилось все живущее на участке население, было много молодежи: студенты и студентки из Москвы, учителя и врачи из разных мест.

Летние дни — долгие дни. Ежедневно раза три в кумысную юрту или поблизости от нее собиралась вся компания, садилась кругом на земле, стараясь по-башкирски подогнуть ноги под себя. В «круге» председательствовал башкир с большим деревянным ведром кумыса, с ковшом или деревянным уполовником в руке, которым он постоянно вспенивал кумыс и наливал в деревянную чашку, обнося по очереди весь круг. На дальнее расстояние чашка передавалась очередному гостю ближайшими соседями. Каждый гость имел право угостить своей чашкой любого из присутствующих. Правила башкирской вежливости требовали, чтобы удостоенный угощения в свою очередь отплатил за внимание.

Вследствие этих степных обычаев — гость, которому со всех сторон оказывается усиленный

почет, принужден выпить чашек десять кумыса сверх очередного обноса. Оставлять чашку недопитой не позволяла та же башкирская вежливость. Случалось, что наиболее почтенные гости не выходили, а выползали из заветной юрты, направляясь к ближайшему стогу, где и растягивались пластом в блаженном неподвижном состоянии.

Артельное кумысное питание совершалось правильно раза два в день. Два раза в день компания собиралась для обеда и ужина. Обряд приятия пищи и кумыса совершался медленно и сопровождался самыми душеспасительными разговорами, спорами и даже ссорами между «субъективистами» и «объективистами», между «идеалистами» и «материалистами». К этим совместным пиршествам ежедневно приходил и Лев Николаевич, которому больше всех приходилось защищаться от наскоков молодых сил. Нередко, однако, он уносился в прошлое или приводил художественную иллюстрацию своего положения, при которой все спорщики смолкали и, разинув рты, жадно впивались в рассказчика молодыми, сверкающими жизнью глазами.

С величайшим восторгом я вспоминаю до сих пор эти недели, проведенные в обществе Льва Николаевича, — не в душной, вечно условной городской обстановке, а поистине на лоне природы, к которой он, как цветок к свету, тянулся всю свою жизнь. Здесь, в степи, все как-то естественно жили в распояску. Любители, даже дамы, ходили босиком. Сам Лев Николаевич чувствовал себя превосходно. В нашей молодой компании он молодел сам, проникался игривостью и смиренно выносил ярые нападки молодежи за свой неумеренный идеализм и политическую незрелость... И молодежь, и сам Лев Николаевич разражались часто заразительным смехом, когда 17-тилетняя курсистка с яростью нападала на него, доказывая, что Лев Николаевич не

знает настоящей жизни и рассуждает, как невинное дитя. Молодой князь Оболенскій, товарищ Сережи, неизменно стоял за эту курсистку, находя, что она всегда права...

Кроме нескольких учителей и учительниц, в нашей компании был доктор Каценельсон, который с увлечением излагал учение классических раввинов. И молодежь, и Лев Николаевич с величайшим интересом прислушивались к его увлекательным лекциям.

Нужно заметить, что в эту пору Лев Николаевич увлекался евангельским учением, в результате чего и получился его перевод четырех евангелистов. Евангельские нравственные тезисы в это время глубоко волновали его. В этот период Лев Николаевич все еще крепко цеплялся за мир, за грешное человечество; под Богом он разумел тогда бессмертное человечество, и ему было понятно тогда, почему Христос называл себя сыном человеческим. Впоследствии его развитое религиозное чувство привело его к учению не от мира сего: он признал тогда человечество столь же конечным и грешным, как и все земное. Он стал отрицать все законы человеческие и требовать исполнения единой воли Божией, выражающейся в своей собственной совести. Он стал тогда последовательным религиозным анархистом.

Но в тот момент и Лев Николаевич и мы были увлечены его любопытными переводами или лучше сказать — истолкованиями четырех евангелистов. Помню, Каценельсон проводил перед нами и Львом Николаевичем параллель между многими основными евангельскими положениями и учением классических раввинов.

— Один книжник, — рассказывал Каценельсон, — пришел искусить ученого раввина. «Рабби, — воскликнул он, — я хочу знать твое учение. Но мне некогда. Скажи мне твое учение, пока ты стоишь

на одной ноге». Рабби встал на одну ногу и сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и своего ближнего, как самого себя».

Евангельское искушение Христа дьяволом есть ничто иное, как нравственная Гегелевская трилогия, говорил Каценельсон: теза, антитеза и синтез. 1. — Не единым хлебом человек сыт бывает. 2. — Но и с духом одним далеко не уедешь. 3. — Дух и материя имеют свои неустранимые требования во всем живом мире. Но человек тем и отличается от животного, что ему одному доступно высшее благо духовного наслаждения.

Каценельсон привел далее в параллель этой христианской трилогии нравственную трилогию раввинов, из которой я припоминаю теперь только тезу и антитезу: 1. — Эгоизм гласит: «Если я не за себя, то кто же за меня». 2. — Альтруизм: «Если я только для себя, то кто же я...» Повторяю: синтез я забыл, но все образованные евреи, конечно, знают и дополнят, и, если есть что неверное, поправят меня. Я хочу лишь отметить сохранившиеся общие впечатления далеких, далеких времен, и упоминаю об этом для того, чтобы отметить, что философское мировоззрение еврейских раввинов имело свое несомненное влияние на религиозное мировоззрение Толстого. Известно, что для перевода четырех евангелий Лев Николаевич брал у ученого раввина уроки древне-еврейского языка. Это общение с ученым раввином, конечно, не могло пройти бесследно. Мало известно другое более существенное и более решительное влияние на Льва Николаевича течения, которое было известно когда-то под именем «богочеловечества». Лишь Сергей Львович в одной статье, чуть ли не в «Русских Ведомостях», по какому-то поводу упоминает, что критики не достаточно знакомы с влиянием на его отца «богочеловеков».

II

ВЛИЯНИЕ НА ТОЛСТОГО НАРОДНИЧЕСТВА

Среди общества, окружавшего Л. Н. Толстого, необходимо отметить двух интересных лиц — Алексея Алексеевича Бибикова и Василия Ивановича Алексеева.

А. А. Бибиков, сын сенатора Бибикова, будучи студентом или уже по окончании высшего учебного заведения, привлекался по Каракозовскому делу. Благодаря протекции, он отделался высылкой из столиц и очутился в конце концов у нас, в самарской губернии. Он, кажется, был одно время управляющим самарским имением Толстого. Впоследствии он арендовал у того же Толстого, или рядом с его имением, небольшой участок земли и вел на нем самостоятельное хозяйство. Он построил себе домик неподалеку от барского дома в усадьбе Толстого. Я был близко знаком с его взглядами и настроениями. Мы были с ним большими друзьями.

Алексей Алексеевич, несмотря на упрощенность в одеянии, и физически, и душевно был в высокой степени благовоспитанный человек. По умственному складу своему он был человек 60-х годов, поклонник Писарева. Знание, положительная наука, реализм — вот основной фактор и двигатель общественного прогресса. Все человеческие погрешности и даже преступления — суть результат человеческого невежества, глупости, незнания законов природы, следствием чего является недостаток предвидения.

С этой позиции его нельзя было сбить никакими аргументами. По самой натуре своей он был в высшей степени гуманный и внимательный ко всем человек. Он жил опростившимся: ходил в простых высоких сапогах или ичигах, носил блузу с поясом, поверх которой летом надевал казакин-безрукавку, а зимой

— полушубок. Он был человек образованный, начитанный, но все, что он читал, преломлялось в его голове через засевшую там глубоко теорию реализма и позитивного знания.

Литература и движение 70-х годов отразились на нем в том смысле, что он проповедывал опрощение, здоровый физический труд, каковым может быть только земледельческий, крестьянский труд. Вместе с семидесятниками он утверждал, что настоящей, нормальной жизнью живет только крестьянин. Только он сотрудничает с силами природы, только он истинный творец и хозяин жизни, ибо совмещает в своем лице и хозяина, и рабочего, и инженера, и агронома, промышленника, торговца и финансиста, который ежегодно должен составлять заранее свой бюджет и добиваться благоприятного баланса. А городской, фабричный рабочий — что?! Это — не человек, а обрывок человека. Наемный рабочий смотрит на свой труд, как на подневольную повинность. Для наемного рабочего — чем меньше работать и чем больше получать, тем лучше. Он не заботится о производительности своего труда и даже не заинтересован в сохранности произведенных продуктов своего труда. Между тем крестьянин-земледелец, как всякий государственный человек, должен думать обо всем, должен предвидеть все, обдумать каждую операцию, начинать и кончать ее своевременно, дабы всю хозяйственную операцию свести без минуса.

И вот Бибиков пошел в народ, сел на землю. При своих сношениях с Толстым он неизменно проповедывал свои взгляды: упрощенность жизни, позитивные знания и земледельческий труд.

Не менее интересным лицом был и Василий Иванович Алексеев, состоявший учителем или гувернером при старшем сыне Льва Николаевича — Сереже.

Алексеев, как и Н. В. Чайковский, кончил университет кандидатом математических наук. Под влиянием Маликова, проповедывавшего «богочеловечество» и «непротивление злу насилием», вместо революции, — Алексеев, Чайковский и многие другие лица экзальтированной и самоотверженной молодежи обоих полов увлеклись этим учением и в 1875 году уехали в Америку, где в штате Канзас основали первые русские коммунистические колонии.

Я не могу здесь останавливаться на этом поучительном опыте коммунистических поселений в Америке, явившихся предтечей и образчиком для всех последующих «толстовских колоний» в России. Это «богочеловечество» и особенно эти американские колонии отняли у нас много самых энергичных и самоотверженных сил как раз в самый разгар движения интеллигенции в народ и начавшейся культурной работы. Я укажу здесь только на то, что кроме общего для народников пристрастия к земледельческому труду, коммунистические колонии «богочеловеков» ставили себе главной задачей — нравственное воспитание своих членов, «самоусовершенствование», развитие божеской природы человека до высшей степени совершенства, дабы, нравственно подготовившись таким образом, вступить, наконец, в мир, в обычную жизнь и действовать на людей личным примером.

После двухлетних опытов в самоусовершенствовании, «богочеловеки» до того надоели и опротивели друг другу, что в конце концов разбежались, кто куда... Большинство вернулось в Россию, а Чайковский принужден был остаться навсегда за границей. Вернулся в Россию Алексеев, вернулся и сам Маликов.

По возвращении из Америки, Алексеев, как математик, был отрекомендован Толстому, искавшему домашнего учителя для своего старшего сына,

Сергея. Поселившись в Ясной Поляне, Алексеев по собственному желанию устроился в отдельном флигеле, где жила и прислуга. По этому поводу возникали некоторые недоразумения. Софья Андреевна установила и поддерживала определенный этикет в семейной жизни. Она знала, что Алексеев человек с высшим образованием, ее смущала мысль, что учитель живет с прислугой. А Алексеева смущало то, что ему приходится столоваться в семье графа, в «барском доме». Алексеева, привыкшего в Америке жить «на лоне природы», между единомышленниками, смущал парадный этикет семейных обедов у Толстых. Этому этикету подчинялись все, в том числе и Лев Николаевич. По постным дням, в среду и пятницу, всем, не исключая Льва Николаевича, подавалось постное. Алексеев просил и ему давать постное.

Как новичек, он чувствовал себя первое время не по себе: Лев Николаевич тогда еще не был тем, чем он стал позднее. У него назревала теория: жить так, как все. Он уже пережил настроение Левина и яснополянской школы. Внутри его продолжал точить тот же червь: зачем жить? и как жить, если все равно умрешь? Надо найти, найти во что бы то ни стало, «смысл жизни», дабы помириться с жизнью, дабы примириться со смертью...

Алексеев чувствовал себя учителем или гувернером в хорошей графской семье, которая не знала его прошлого. Это угнетало его.

Чтобы рассеять свои сомнения и выяснить, наконец, положение, он решил объясниться с Львом Николаевичем совершенно откровенно, приготовившись к немедленному отъезду в случае неудовлетворительных результатов. Объяснение происходило с глазу на глаз.

Будучи плохим дипломатом, Алексеев с первых же слов огорошил Толстого заявлением, что он —

социалист, и что считает нечестным оставаться дольше учителем и жить в интимном общении с графской семьей, не сказав, кто он такой и каковы его убеждения. — «Я не могу больше лицемерить. Я готов уехать», — закончил Алексеев.

Толстой внимательно выслушал. Пожевал губами и, когда тот кончил, мягко заговорил.

— Но, позвольте... Насколько я знаю, — вся семья моя вас любит. Софья Андреевна к вам хорошо относится и Сережа доволен. Обо мне и говорить нечего. Я не совсем понимаю, чем или кем вы недовольны?

— Я не имею оснований быть недовольным. Но я не предупредил вас, что я социалист, и это может быть неприятно. Повторяю, я лицемерить не могу.

— Социалист!.. Но ведь это дело личной веры... Я пригласил вас помочь сыну подготовиться к экзамену. Если вы будете давать уроки и по социализму, надеюсь, вы не потребуете дополнительного за это вознаграждения?...

Лев Николаевич старался обратить весь инцидент в шутку. — «Какой же вы социалист, говорил он, когда не умеете вести подпольную пропаганду и прямо головой выдаете себя самому хозяину».

Короче сказать, после этого объяснения всякая натянутость исчезла. На следующий день Лев Николаевич за обедом торжественно заявил, что Василий Иванович отныне возводится в сан социалиста...

Вопрос с флигелем и прислугой был разрешен каким то компромиссом; кажется, Сережа перешел жить тоже во флигель.

Но этот инцидент послужил первым поводом к частым беседам и горячим спорам между бывшим «богочеловеком» и будущим «толстовцем». Алексеев познакомил Толстого с учением «богочеловеков»,

с историей поездки в Америку и с жизнью в колонии. Моральные проблемы волновали их обоих. Алексеев особенно указывал Толстому на то, как трудно человеку бороться с своей собственной натурой.

— Совместная жизнь в колониях, рассказывал Алексеев, составленных из лиц разных темпераментов, приводила к ссорам из-за пустяков, так что, успокоившись немного, люди в ужас приходили от своей собственной невоздержанности. И вот, чтобы разряжать атмосферу скрытого взаимного недовольства, был введен институт исповеди. По субботам в общих собраниях все каялись, если кто сделал или помыслил что-нибудь недоброе в отношении к своим членам. Эти исповеди кончались трогательным примирением противников и взаимными лобызаниями. Но не надолго. Грехи повторялись слишком часто, так что покаяния вскоре потеряли прелесть новизны. Нелады росли, как грибы. Попробовали вызвать в колонию сурового аскета, бывшего астронома, проживавшего тогда в Америке, Фрея, дабы помешать всеобщей тяге в мир. Фрей приехал. По индейским обычаям, за роль, которую он играл, его прозвали «Железным Обручем». Но и «Железный Обруч» не сдержал, и вся колония рассыпалась.

— И однако, говорил Алексеев, теперь, когда забыты эти случайные дрязги и мелочи, все бывшие члены колонии, представляются, как самые близкие товарищи, как члены одной семьи.

В последовавших затем очень частых беседах Толстого с Алексеевым о нравственных проблемах, Алексеев был нападающей стороной: он был более крайним. Толстой защищал неизбежность компромисса, Алексеев же доказывал, что люди несчастны потому, что живут всю жизнь компромиссами, лицемерно: говорят и делают не то, что чувствуют и думают. Душевный разврат лицемерия заключается

в том, что от людей скрыть свое свинство легко, а от себя абсолютно невозможно. Лицемеря, человек становится сам себе заклятым врагом. Человек сознает свое лицемерие и теряет к себе уважение. А потеря уважения к себе равносильна нравственной смерти.

В этих диспутах с Алексеевым Толстой нередко ссылался на изречения евангельские. Алексеев хорошо знал евангелие, и на ссылки Толстого отвечал тоже ссылками на евангелие, но в противоположном смысле. При этом Алексеев доказывал, что Лев Николаевич, в сущности, мало знаком с евангельским учением, его не изучал и знает о нем настолько, насколько это необходимо знать светскому человеку, живущему в православном обществе.

Однажды Алексеев просидел несколько дней над составлением и сопоставлением евангельских текстов, находящихся в прямом противоречии друг с другом, и отдал рукопись Толстому.

Проходит много времени; Толстой избегает каких бы то ни было разговоров на жгучие темы. Он работает целые дни в своем кабинете. Лишь один раз, не вступая в беседу, он сказал, как бы мимоходом, Алексееву: — «А вы, пожалуй, правы...»

Далее, Алексеев рассказывал нам про памятный день, когда в душе Толстого совершился, повидимому, какой то перелом. Дело было за обедом, день был постный, и все ели постное, кроме двух лиц, сидевших на диете по предписанию врача... Лев Николаевич, как и все, в эти дни ел постное. Но на этот раз, когда подали второе блюдо, он совершенно неожиданно берет свою вилку и как-то торжественно втыкает ее в мясо и кладет на свою тарелку.

Все это заметили, все удивились, но никто не промолвил ни слова. Чувствовалось, что это сделано неспроста.

Лев Николаевич перестал защищаться. Напротив, он стал обвинять себя, стараясь перестать лицемерить. — «Тут только, рассказывал Алексеев, я почувствовал все духовное величие Толстого и свою собственную мизерность. Нам, перелетным птицам, очень легко бороться с собой, критиковать и побеждать себя. Для победы над собой Льву Николаевичу требуются богатырские силы...»

— . —

То было время, когда я и все поколение тогдашних социалистов с жаром обсуждали этические проблемы, в связи с революционным выступлением народовольцев, вступивших в смертельный поединок с самодержавием. Горячие споры молодежи с Толстым в наших общих беседах касались именно этого главного пункта, — его социальной философии: «непротивления злу насилием».

На наших кумысных собраниях я рассказывал иногда в присутствии Толстого про свои военные похождения под Карсом. Как участника процесса 193-х, меня заставляли рассказывать про процесс, про сиденье в тюрьме, про насилия Трепова над нами, заключенными, про сечение розгами товарища Боголюбова, вызвавшее выстрел Веры Засулич, суд над ней, ее оправдание и благополучный побег за границу.

Из разговоров с Толстым я убедился, что он многое знает обо мне от Бибикова. Он знал, что я живу в своем селе с матерью, что я крестьянин и занимаюсь крестьянским хозяйством, что имею своих лошадей, сам пашу, сею и убираю хлеб без помощи наемного труда. Он был заинтересован таким редким явлением, чтобы интеллигентный человек, не за страх, а за совесть, занимался крестьянским трудом.

На распросы Толстого о моем хозяйстве и усло-

виях жизни, я не мог тогда рассказать ему всей правды. И я чувствовал, что поселил в нем тогда некоторое разочарование. Вместо дифирамбов крестьянскому труду, на что вероятно он расчитывал, — я сказал ему, что заниматься сельским хозяйством интеллигентному человеку труднее, тяжелее, чем бедному и безграмотному крестьянину. Ибо интеллигентный и всякий образованный человек, занимающийся крестьянским трудом в деревне, сразу подпадает под подозрение полиции и подвергается всяким клеветам и доносам со стороны самых темных элементов деревни.

III

ПРИЧИНЫ МОЕГО «МУЖИКОВАНЬЯ»

То, что я не мог объяснить Толстому тогда, может быть уместно рассказать вкратце теперь.

Первые схватки с самодержавием заканчиваются 1-го марта убийством императора Александра II. Открываются страшные гонения, особенно на народовольцев и либералов вообще. Охранное отделение знало с самого начала о разделении социалистов на «народовольцев» и «чернопередельцев». Еще в 1880 году департамент полиции открыл беспощадные гонения на первых и тогда же начал покровительствовать вторым. Признаком чернопередельчества для жандармов служило «м у ж и к о в а н ь е», работа на земле, в земледельческих колониях, вроде Энгельгардтовской, в смоленской губернии, и вообще жизнь в селе, а не в городе.

Отданный под надзор полиции тотчас по выходе в запас, я увидел,что если я смогу удержаться и быть чем-нибудь полезным для партии, то только живя в деревне и занимаясь крестьянским хозяйством, и притом не за страх, а за совесть.

Мне это очень пригодилось после 1-го марта, даже и тогда, когда началось предательство Дегаева и его сотрудничество с Судейкиным. Судейкин, играя в кошку-мышку с правительством и революционерами, открыто покровительствовал «землевольцам» и «чернопередельцам». Он морочил головы многим юнцам обоего пола, говоря, что он противник самодержавного правительства и стоит за конституцию. Но добыть конституцию мешают «народовольцы», устраивая покушения и тем помогая придворной клике запугивать царя революцией. Поэтому он, Судейкин, приглашает всех любящих свой народ бороться с «народовольцами», как с заклятыми врагами народными.

Он знает, однако, что «народовольцы» честные люди, которые только заблуждаются. Тем, кого можно привлечь к «чернопередельцам», он готов помочь, и морально, и материально: пусть идут в народ, садятся на землю и создают колонии. Если действительно захотят помогать крестьянам, то он, Судейкин, всегда готов притти им на помощь.

Судейкин был, очевидно, хорошо осведомлен обо мне, ибо не один раз направлял ко мне зеленых «чернопередельцев», говоря: — «Поезжайте к Лазареву, он вас устроит». И давал денег на дорогу.

Так, однажды, является ко мне здоровенная девица, небезызвестная Мятелицына, работавшая перед тем в колонии Энгельгардта и написавшая об этом статью в «Отечественных Записках» под заглавием: «Год в батрачках». Она приехала ко мне и показала мне письмо к ней Судейкина, который дал ей точный мой адрес и советовал ей ехать прямо ко мне: «он устроит»... Мятелицына сообщила, что получила от Судейкина 4000 руб. на обзаведение хозяйством или на устройство колонии, что эта сумма вместе с ее собственным запасом и пожертво-

ванием другой, в свое время тоже небезызвестной девицы аристократки-народницы Дурново, даст сумму, нужную для съемки в аренду участка земли, достаточного, чтобы «разводить интеллигентных телят», как она образно определила задачи своей хозяйственной миссии. Так с тех пор за ней и осталось у нас название «воспитательницы интеллигентных телят».

Что было делать? Она верила в искренность Судейкина, она мысли не допускала, что он отчаянный негодяй. — «Зачем бы он стал помогать многим земледельцам и давать тысячи на устройство колоний?» — говорила она. Обсудив дело в нашем кружке, мы решили ее «устроить».

И устроили ее на хуторе, близ моего села, в имении знакомого, очень консервативного помещика Осоргина.

Целый год она со своей матерью и — по временам — с подругой Дурново засевала хлеб, нанимая крестьян, и действительно, вероятно, воспитала несколько голов интеллигентных телят. Вскоре она стала притчей во языцех во всей нашей окрестности: жила, пока не прогорела и не исчезла с нашего горизонта. Благодаря этому инциденту с Мятелицыной, казалось, что мое положение довольно прочно.

В это мое первое знакомство с Толстым на лоне природы мне не удалось беседовать с ним наедине и основательно на интересовавшие меня темы: при его обычных посещениях наших собраний он безраздельно становился достоянием или жертвой всей компании. Ему приходилось играть роль представителя консервативных «отцов», а вся остальная молодая компания высоко держала революционное знамя «детей».

Лоно природы, ширь степей необъятная да высь поднебесная; гипертрофия молодой энергии; свобода; простота жизни и общее доверие друг к другу,

— все это давало полный простор проявлению широкой русской натуры.

— Бей по голове двуглавую хищную птицу! — кричала на всю степь молодежь.

— Не тронь и клопа! — отвечал Толстой.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в ссоры, при чем доставалось на орехи и «консервативному» графу.

Помню случай. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились все, стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения, за то, что он нас рассердил..., вывел из себя...

Вся молодежь, кавалеры и дамы, самопроизвольно тотчас вскочили на ноги и бросились к Льву Николаевичу. Окружив его тесным кольцом, в бурном раскаянии, вместо качания на руках, все начали обнимать, или лучше сказать, — тормошить и мять его, тогда еще крепкую и мощную, фигуру.

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все уселись на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей прежней жизни, нисколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц.

Здесь, быть может, неуместно вдаваться в подробности и описывать чудную поездку всей компанией, с Львом Николаевичем во главе, в соседнее башкирское кочевье за 10—15 верст, верхом и в экипажах, — куда Лев Николаевич с кумысниками был приглашен начальником местных башкир. Но для характеристики великого покойника не могу

не отметить одного случая, который тогда же глубоко запал в моей памяти.

Однажды в кумысном собрании речь зашла об отношениях между Львом Николаевичем и Тургеневым. Кто-то из присутствующих, имея в виду старую ссору двух великих русских писателей, посреди всеобщего оживления и непринужденных разговоров, полушутя и, может быть, несовсем тактично, спросил Льва Николаевича: —«Ну, а как «великий писатель русской земли» ныне относится к своему прежнему литературному сопернику?»

Меня — да и не одного меня — очень удивило: Лев Николаевич ответил не сразу; он как бы вспоминал что-то; и, наконец, ответил голословным отзывом, с резким эпитетом по адресу Тургенева...

Все мы почувствовали, что здесь есть что-то личное, глубоко спрятанное в душе. Разговор перешел на другие темы. Но факт этот был отмечен другими лицами, и мы обсуждали его меж собой и строили разные догадки. Как бы то ни было, недружелюбное отношение к Тургеневу в любвеобильном Льве Николаевиче осталось для нас непонятным...

IV

В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление, от 8 июля того же года, о высылке меня административным порядком в Восточную Сибирь сроком на 3 года. Меня хотели отправить в Москву немедленно, не дав времени повидаться и проститься со старухой матерью, которая оставалась одинокой. К счастью, одновременно с «мужикованьем», я состоял частным поверенным при бузулукском съезде мировых судей.

По моей просьбе суд сделал представление губернатору о необходимости задержать меня для устройства и сдачи моих судебных дел. Меня задержали на три недели в самарской тюрьме. Вследствие этого я прибыл в Москву, в Бутырскую пересыльную тюрьму, лишь 22 августа, — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне приходилось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, т. е. до мая месяца.

Таким образом вся Бутырка очутилась в моем монопольном владении. Некоторое время я занимал всю Часовую трехъэтажную башню с общими камерами, по одной камере в каждом этаже. Лишь постепенно тюрьма стала наполняться молодежью со всех концов матушки Руси: «От финских хладных скал до пламенной Калхиды»...

Бутырки!.. Сколько теплых чувств возбуждает это созвездие звуков!..

Бутырская тюрьма представляет собой целый квартал, обнесенный высокой каменной стеной, с четырьмя круглыми башнями по углам. Посредине расположены главные тюремные корпуса, для уголовных. Башни же были предназначены для политических — административно-ссыльных и ссыльных по суду. Только одна Часовая башня имела три общие камеры, для административно-ссыльных мужчин. Во всех остальных устроены «одиночки».

В зиму 1884—1885 года в Северной башне сидели женщины; в Пугачевской — осужденные по суду: Лев Дейч; по процессу Веры Фигнер—Спандони, и Чуйко; Васильев, Дашкевич и другие ссыльные.

Женское общество в Северной башне было представлено целым букетом очаровательных девиц, во главе которых стояла избранная ими «старостиха», Анна Васильевна Пчёлкина, поныне здравствующая вдова убитого черносотенцами профессора

и ученого экономиста, члена первой Государственной Думы, М. Я. Герценштейна. Из других заключенных девиц этого года можно указать на каторжанку Марью Калюжную, впоследствии трагически погибшую на Каре вместе с другими, в знак протеста против наказания розгами их товарища, каторжанки Сигиды, покончившей после того самоубийством. Там же сидели: Шулепникова, Сербинова, Мельникова и Марья Ивановна Шеблакова, — впоследствии жена моего друга, А. В. Милашевского, — ныне умершая, чудная женщина, с которой мне пришлось впоследствии не раз выносить порывы политической непогоды в России и заграницей. В последнее время к ним присоединились жены следовавших в административную ссылку в Сибирь — Малёванная, с ребенком, и Присецкая.

Как «старожил» и как «эксперт» по тюремной жизни, я был поставлен «старостой» над всеми политическими, заключенными в башнях. Вследствие этого я пользовался привилегией свободного входа в другие башни, сносясь с дамами через «старостиху», которая тогда была невестой Герценштейна.

В конце сезона в моем ведомстве было 65 человек всех родов ссыльных, мужчин и женщин. В одну нашу Часовую башню собралось до 40 административно-ссыльных. Всю эту публику я должен был кормить и всячески ублажать..., следить за ее здоровьем и настроением, для чего необходимо было знать индивидуальные вкусы и состояние подвластных мне желудков. Задача — потруднее, чем у любого Ллойд Джорджа. Мало того, всю эту разношерстную первую партию 1885 года, в качестве того же старосты, я повел в Сибирь, оставляя многих по пути в Западной и Восточной Сибири, и проводил каторжан на Кару до самой Читы, куда был сослан сам и где расстался, наконец, с каторжанами — Дейчем, Спандони, Чуйко и Марьей Калюжной.

Этот год сиденья в Бутырках был исключительный в летописях Бутырской тюрьмы. Вскоре я стал фактическим распорядителем тюрьмы в отношении к политическим заключенным. Начальник тюрьмы и особенно его помощник, специально заведывавший политическими, исполняли все мои желания, с единственной просьбой: «Не погубить!..»

Первоначальные недоразумения и столкновения с ключниками и начальством, доходившие до вмешательства московского губернатора, князя Голицына, заканчивались нашей победой и только укрепляли мой авторитет. Князь Голицын два раза по моему вызову приезжал в тюрьму, чтобы отвратить серьезное и скандальное столкновение.

По тем временам волнения и столкновения с политическими мало-мальски миролюбивым губернаторам никакого удовольствия не доставляли. Наоборот, всякое начальство любило в своем царстве тишину и порядок. А князь Голицын — к его чести сказать — принадлежал к числу мирных губернаторов. Я обещал князю взять на себя всю ответственность перед ним за сохранение надлежащего спокойствия и порядка в подведомственном мне, в высшей степени беспокойном, обществе, если... если мне предоставлена будет известная свобода действия, при чем были бы устранены ненужные и только раздражающие формальности тюремных инструкций. Я напоминал князю, что мы — административно-ссыльные, и идем в Сибирь, где будем жить на воле, и не наша вина, что нас держат здесь, многих после долгих месяцев предварительного заключения. Я ставил князю на вид, что здесь собрана очень милая и интеллигентная молодежь, но с развинченными от тюремного сидения нервами. Для того, чтобы облегчить положение, требуется только простой такт; а для того, чтобы облегчить

мою миссию, князю достаточно шепнуть слова два на ухо начальнику тюрьмы...

В результате переговоров и соглашений нам были разрешены сапожные и другие инструменты для работ. Мне лично князем была разрешена гитара. После венчанья в тюремной церкви товарища Лаврусевича с Бабушкиной, была устроена в тюрьме маленькая пирушка. Не помню точно: под Рождество или на Пасху, в нашей Часовой башне был устроен форменный бал с музыкой и танцами, куда были приглашены все заключенные, кавалеры и дамы, из всех башен, как административно-ссыльные, так и каторжане. Питий и яств было вдоволь. Музыка (гитара) и танцы продолжались всю ночь и до полудня следующего дня.

Боже, Боже, кто теперь поверит, что так жили при Аскольде наши деды и отцы, веселились, пировали... Мы ели тогда белые московские калачи с изюмом и без оного. Мы имели свободные сношения с волей. Мы читали свободно нелегальную литературу, и свободно могли бы поставить в тюрьме печатный станок, если бы не обещание не злоупотреблять доверием.

...Вар! Вар!.. Отдай мои легионы!

V

СВИДАНИЕ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

При таких условиях легко устраивались свидания как между заключенными, так и заключенных со своими родственниками и знакомыми на воле. В один день ко мне неожиданно явился на свидание упомянутый выше А. А. Бибиков в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибиков возвращался вскоре назад

в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность подольше видеться со мной. Иногда он сам приходил на свиданье ко мне вместе с матерью. А когда она, наконец, уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь, наконец, мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах и настроениях.

Свидания нам давали в общем зале, где одновременно происходили свидания других заключенных с их родными и знакомыми. Лев Николаевич внимательно рассматривал всех присутствующих и расспрашивал меня обо всех. Помню один случай, показавший силу его художественного воображения.

Однажды, во время свидания, Лев Николаевич обратил особое внимание на молодую пару воркующих голубков, — административно-ссыльного товарища, Ив. Ник. Присецкого с женой, с которой он повенчался в киевской тюрьме, когда та, будучи невестой, жила на воле. Она приехала теперь в Москву, чтобы следовать за мужем в ссылку.

— Как, спрашивает Лев Николаевич, — значит, они до сих пор остаются на положении жениха и невесты?..

Я улыбнулся утвердительно.

Лев Николаевич молчал и из под своих длинных бровей все время смотрел на молодую пару, которая сидела близко друг к другу, крепко сцепившись руками.

Но Лев Николаевич не унимался.

— Как, — снова спрашивает он, — неужели им не позволяют остаться одним... вместе спать не дают?

Я вновь улыбнулся при мысли о такой наивности, и, признаюсь, был немножко смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не понижая его при своем

щекотливом вопросе. Я невольно стал осматриваться по сторонам, чтобы убедиться, не слышал ли кто-нибудь из соседей его вопроса.

Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает, хмурит брови и жует губами.

Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него, и был несказанно смущен. По щекам его текли слезы, и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирал.

— Какое варварство! — произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание кончилось и все стали прощаться.

— . —

Весной 1885 года мы вышли из Москвы, и наши непосредственные сношения с Львом Николаевичем прекратились. Но с этапного пути, из Иркутска, я написал ему длинное письмо с описанием знаменитой 16-тидневной голодовки 4-х женщин каторжанок: М. П. Ковалевской (сестры писателя-экономиста В. П. Воронцова), Богомолец (сестры упомянутого И. Н. Присецкого), Россиковой (подкоп под херсонское казначейство) и Марьи Кутитонской (стрелявшей в забайкальского губернатора Ильяшевича).

Все четверо сидели в иркутской тюрьме, на особом положении, переведенные за беспокойный характер из карийской каторжной тюрьмы. Голодовка была объявлена, как протест против ухудшения режима после знаменитого побега из той же иркутской тюрьмы их товарки, тоже каторжанки, Лизы Ковальской. Когда мы пришли в Иркутск, голодовка только что кончилась. Мы тотчас же вошли с ними в сношения: они рассказали нам все перепитии этой чудовищной голодовки. Я по-

дробно описал ее и письмо послал Толстому. Я долго не знал о судьбе этого письма: дошло ли оно? Лишь четыре года спустя мне пришлось итти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич получил мое письмо и не держал его в секрете...

Только здесь, в иркутской тюрьме, мне удалось прочесть сообщение на имя иркутского генерал-губернатора о том, что на основании доклада сенатора Любощинского, которому поручено было пересмотреть в административном порядке приговоры и поведение всех оправданных по процессу 193-х, — особое совещание четырех министров, от 8-го июля 1884 года, постановило выслать Егора Лазарева на 3 года в Восточную Сибирь, в распоряжение иркутского генерал-губернатора.

«По показаниям государственного преступника С. Дегаева, — говорится в этом сообщении, — Егор Лазарев с самого основания партии «Народной Воли» стоял во главе военной организации».

Из предыдущего видно, что подобное обвинение не совсем основательно: с военной организацией я имел лишь косвенное сношение.

Из забайкальской области я раза два с Львом Николаевичем обменялся письмами.

После того мы никогда не теряли из вида друг друга. В 1890 году я бежал в Америку; оттуда в 1894 году переехал в Англию. Движение духоборов мы переживали сообща. Позднее, заграницу приезжают один за другим ревностные последователи Толстого: князь Хилков, П. И. Бирюков, В. Г. Чертков и целая фаланга менее известных толстовцев. Через Черткова толстовство заносится в Англию, образуются чисто английские колонии. В Швейцарии, близ Женевы, поселяется П. И. Бирюков, и там создаются колонии.

С 1896 года я надолго поселяюсь в Швейцарии, и все три дочери Льва Николаевича, при посещении Швейцарии, навещают и меня. Мы особенно часто виделись с Татьяной Львовной Сухотиной.

У меня было несколько интересных писем от Льва Николаевича. Но одни из них были безбожно уничтожены в России, руками близких мне людей во время обыска, когда, из боязни повредить мне, уничтожили все мои бумаги, оставленные на хранение.

Одно его письмо ко мне в Швейцарию я дал прочесть его дочери, Татьяне Львовне, в один из приездов ее. Она привыкла читать его характерный, размашистый готический почерк, и сама переписала его. Но с передрягами последних лет я сам не знаю, что осталось у меня. Несколько лет тому назад, покойная жена моя, роясь в своих письмах, нашла копию письма ко мне Льва Николаевича, переписанного ее собственной рукой. Письмо следующего содержания:

«Дорогой Егор Егорович. Я очень рад возобновить общение с вами. Я знал про вас и радовался, что вы на свободе и в Англии. На вопросы, вами поставленные, отвечаю:

«Статья New York World'а состоит из выписок из книги, изданной в Берлине по-русски: «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина, составленная Поповым». К книге этой приложено мое предисловие. Выписки эти сделаны очень дурно, с прибавлениями составителя, так что ни в каком случае статья эта не может быть приписываема мне, и подписание ее моим именем есть обман. Я очень рад, что сведения эти распространяются, но мне неприятно, что неписанное мною подписывается моим именем; и вы, если вы найдете это нужным, пожалуйста, заявите об этом в английских газетах, опираясь на это письмо. Что касается до известий из Central News, то все это выдумки и ничего подобного не случилось.

«Как вы живете? Хорошо ли вам? Не могу ли вам быть чем-нибудь полезным? У меня осталось самое хорошее воспоминание о вас.

«Мы часто с сыном вспоминаем о вас.

«Любящий вас Л. Толстой».

21 октября, ст. ст. 1895 г.

Это письмо было получено мной в Англии, после моей высылки из Франции, в ответ на нелепые сообщения в Central News и в News York World, которые я послал в вырезках; указанные опровержения были своевременно сделаны, а письмо Толстого было напечатано в нескольких газетах.

VI

СМЕРТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО

Здесь не место описывать обстоятельства, сопровождавшие смерть Толстого, — его великую и последнюю попытку победить самого себя, победить в себе страх смерти, спокойно заглянуть в глаза вечности и ощутить бессмертие, соединиться с Богом... Эта тема требует специального изложения. Моя задача теперь более скромная: указать, что смерть Льва Николаевича послужила поводом к моей третьей высылке в Сибирь на четыре года.

Смерть Толстого взволновала, потрясла всю Россию. Учащаяся молодежь Петербурга решила устроить грандиозную демонстрацию на Невском. По всем учебным заведениям собирались сходки. Решили демонстрацию провести сообща и организованно. Правительство нахмурило брови: Столыпин конфиденциально сообщил компетентным кругам, что он демонстрации не потерпит, что он не побоится повторить 9 января 1905 года. Кадетский орган

«Речь» умолял студентов отказаться от демонстрации и не губить бесплодно массу молодых и драгоценных жизней.

Под этим давлением первыми дрогнули студенты-кадеты, т. е. «милюковцы». Ссылаясь на отказ «кадетов», отступили и социал-демократы. Остались одни социалисты-революционеры, которые, в негодовании на отступничество товарищей, решили во что бы то ни стало итти на демонстрацию; и в условленный час, прямо с всеобщей сходки, тронулись сомкнутыми колоннами на Невский проспект. Будучи секретарем редакции «Вестника Знания», занимавшей помещение над «Новым Временем», против Гостинного двора, я наблюдал за ходом демонстрации от начала до конца. Около Думы и по дворам вдоль Невского были заранее расставлены конные казаки. Весь Петербург был на ногах и в страшном напряжении. И народ, и правительство, каждый по своему, готовились отметить смерть великого русскаго человека и писателя.

Когда студенты-эсеры вступили на Невский, все остальное — «кадетское» и «марксистское» — студенчество последовало за ними, сначала в качестве зрителей, держась тротуаров, а когда демонстрация стала развиваться, когда казаки, с гиком и с шашками наголо, стали бешено носиться по Невскому, очищая его от публики, которая вследствие этого сгруживалась на тротуарах, с тем, чтобы заполнить тотчас же всю улицу, как только казаки промчатся, — все остальное студенчество смешалось вместе под одной моральной и политической ответственностью эсеров. Опасность, как азартная игра, разжигала страсти. На Невский вступила посторонняя публика, в качестве зрителей. Публика эта, под руководством студентов, скоро вошла в боевой круговорот.

Демонстранты, оттесненные к Николаевскому

вокзалу или в боковые улицы, выходили снова на Невский, захватывали электрические трамваи, и, набившись в них, как сельди в бочки, — тоже с гиком и тоже бешено неслись на другой, очищенный, конец Невского. На тротуарах появилась масса офицеров и даже генералов, которые расхаживали по Невскому под ручку с дамами-демонстрантками, для охраны их.

Эти рейды казаков на Невском и Литейном продолжались часа три. Всеми было признано, что демонстрация прошла блестяще: избитых и искалеченных людей оказалось неожиданно мало; даже арестованных было немного. Столыпин был взбешен. Он решил расправиться с эсерами и народниками вообще: все арестованные, которые могли доказать, что они принадлежат к кадетской или эсдекской организации, отпускались немедленно на волю. Но зато Столыпин приказал очистить Питер от народников.

Первый наскок на нас был сделан в редакции «Русского Богатства», где с незапамятных времен происходили «четверги», на которых собирались сотрудники и друзья журнала. В первый четверг после демонстрации собрание было особенно многолюдно. Всем хотелось собраться и поделиться впечатлениями. Смерть Толстого вызвала волнения и в других местах. Здание редакции было оцеплено полицией, и всех нас, как участников незаконного собрания, задержали, переписали и хотели отправить в «укромное» место. Благодаря энергии, хладнокровию и настойчивости В. А. Мякотина, удалось войти в непосредственное телефонное сношение с градоначальником, и нас в три часа ночи, наконец, отпустили.

Меня, однако, отпустили ненадолго. В ночь на 30 ноября 1910 года я был арестован, посажен в спасский участок, откуда через пять дней был

переведен в знаменитый Дом предварительного заключения, а там, без всяких спросов и распросов, через 4 месяца мне объявили третью ссылку в Сибирь на четыре года.

На этом можно бы покончить мое сообщение, но я прошу читателя простить мою слабость: я не в состоянии остаться равнодушным даже при одном упоминании об этой тюрьме...

Никогда в жизни я не сидел в тюрьме с таким упоением, как на этот раз, на Шпалерной...Прежде всего потому, что эта тюрьма пробудила во мне самые нежные чувства привязанности к ней. Признаюсь откровенно, что, вступив в нее и оставшись наедине в своей камере № 202, я буквально заплакал от радости и умиления. Она была для меня alma mater, ибо 35 лет тому назад, будучи во цвете лет, я был в ней на новосельи. Тогда это была новая, только что построенная образцовая одиночная тюрьма, лучшая в Европе, которую правительство с гордостью показывало всем заезжим знатным иностранцам, между прочим и бразильскому императору, который приехал в тюрьму и явился с визитом в мою камеру...

В конце марта 1911 года я был переведен в пересыльную тюрьму, в которой незадолго перед тем сидела, тоже перед вторичной отправкой в Сибирь, К. К. Брешковская....

Неправильно люди говорят, что история не повторяется. Повторяется! и... еще как!

До Сибири, однако, на этот раз дело не дошло. Я с месяц просидел в пересыльной тюрьме, пропуская этап за этапом. Наконец, мне сообщили, что, благодаря влиятельному ходатайству, Столыпин разрешил ссылку в Сибирь заменить высылкой меня заграницу на тот же срок, т. е. до 1915 года....

ПЕРВАЯ ССЫЛКА

Когда меня спрашивали о причинах моей первой ссылки в Сибирь, я смело и быстро отвечал:

— Ей-Богу, не знаю.

Когда же спрашивали о причинах второй ссылки, я смущался, терялся и обыкновенно отвечал:

— Долго рассказывать.

Присутствующие товарищи приходили мне на помощь, говоря:

— За то, что был «Апостолом» у штундистов.

А более ядовитые из товарищей бросали:

— Митрополитом у сектантов был.

Эти краткие ответы только разжигали любопытство, и в конце-концов, в подходящей компании и при добром расположении, мне приходилось «долго рассказывать»...

В 1890 году я бежал из этой вторичной ссылки в Америку. В следующем, 1891 году, живя в Денвере, столице штата Колорадо, я получил телеграмму от Джорджа Кеннана:

«Сообщите причины вашей вторичной ссылки в Сибирь».

Запрос, быть может, спешный: он готовил отдельное издание своих статей и лекций. Я так же, как раньше, смутился и не мог ответить по телеграфному: «по такому-то делу».

Чтобы не было недоразумений, я тотчас же сел за стол и писал, почти не отрываясь, целые сутки. Образы прошлого среди людей Нового Света охватили меня, и я, забыв все окружающее, глотая по временам то горькие, то сладкие слезы, написал целую тетрадь, или повесть... И послал ее Кеннану,

прося его самого формулировать «причины моей вторичной ссылки».

Прочитав присланную повесть, Кеннан не смог формулировать причины моей высылки. Он посоветовал перевести «письмо» на английский язык и напечатать отдельно.

Позднее, в 1893 или 1894 году значительная часть этого письма была напечатана в лондонской «Free Russia» («Свободная Россия»), — органе Общества Друзей Русской Свободы, выходившем тогда под редакцией Сергея Кравчинского-Степняка.

И вот, — теперь, предполагая говорить о «причинах моей вторичной высылки в Сибирь», мне приходится начать сказку про Белого Бычка. Ибо моя вторичная высылка, сравнительно с условиями и обстоятельствами, ей предшествовавшими и ее вызвавшими, является событием незначительным, второстепенным и даже случайным. Интересны именно эти условия и обстоятельства, при которых высылка произошла.

Посему, да позволено будет мне остановиться на них.

I

НА ЭТАПЕ

В конце октября 1885 года после шестимесячного этапного пути наша небольшая партия политических благополучно достигла Читы, столицы забайкальской области.

Вышла же она из Москвы в начале мая того же года в числе около шестидесяти человек. В ней была смесь административно ссыльных и ссылаемых по суду на поселение и на каторгу.

На протяжении этого длинного пути партия постепенно таяла. В Тюмени от нас отделилась

большая половина товарищей, следовавших в разные города Западной Сибири. От Тюмени до Томска мы плыли по Иртышу и Оби, оставляя по пути отдельных товарищей. От Томска до Иркутска — три месяца долгого этапного пути, с партией уголовных в 300 человек. В Томске от нас отделилось еще несколько товарищей, так что путь до Иркутска мы совершили группой в четырнадцать человек.

Наконец, на пути от Иркутска до Читы нас осталось только шесть человек. Из каторжан, шедших на Кару, четверо: Лев Дейч, Спандони, Чуйко и Марья Калюжная. Затем, сосланная по суду на поселение Любовь Чемоданова, получившая позволение жить в Чите, где находилась в ссылке ее родная сестра, жена Сергея Силыча Синегуба, нашего товарища по процессу 193-х. Шестым был я, административно ссыльный, шедший в распоряжение губернатора Забайкальской области, сроком на три года, из коих больше года я провел в пути!..

По прибытии в Читу, через несколько дней меня и Чемоданову освободили, и таким образом естественно кончилась моя должность «старосты политических», которую я исполнял, сидя в московской Бутырке и все время на пути в Сибирь.

В качестве старосты, я пользовался особыми привилегиями и мог проникать во все тайны арестантской и тюремной жизни. В своей жизни я два раза был сослан в Восточную Сибирь, и оба раза прошел весь долгий путь, состоя старостой. Оба эти путешествия очень занимательны. Они изобилуют многими комическими, драматическими и трагическими инцидентами. Но здесь не место останавливаться на них.

И однако я не могу не отметить здесь последнего перед выходом на волю тюремного впечатления, которое глубоко отпечаталось в душе моей на всю жизнь.

Мне было известно от Марьи Кутитонской, которую мы видели и с которой беседовали в иркутской тюрьме, что после ее ареста и до суда она сидела в карцере, в пресловутом «каменном мешке», в читинской тюрьме. Рассказывая о себе, она советовала мне, по прибытии в Читу, навестить этот карцер, повидать его и передать привет от нее, Мани Кутитонской:

— Если вам удастся хоть на момент взглянуть на мою прежнюю квартиру, она расскажет вам о моих мыслях, чувствах и настроениях того времени.

По приходе в читинскую тюрьму, я исполнил желание Кутитонской и повидал этот «мешок». Мешок представляет простую щель между двумя каменными стенами. Ширина его на каменном полу так мала, что широкоплечий человек мог лежать на нем только на боку. Ближе к двери щель расширяется до того, что позволяет свободно пролезть одному человеку. Рассеянный свет от отдаленного окна коридора при открытой дверке позволяет видеть пол, вернее — дно щели, на протяжении двух сажен. Пол неровный, с выступающими камнями, предназначенными нарочно для того, чтобы лишить заключенного последнего «комфорта». Ни подстилки, ни соломы не полагалось. Вся щель до верху была густо заткана паутиной. Но вход и выход для крыс был совершенно свободный.

Все же гуманность природы нашла себе приложение даже в этой ужасной норе: неровности пола уменьшены были скопившейся пылью, песком и сором. Кутитонской не давали даже головного платка...

На своем веку я видел много всякой всячины, так что привык ничему не удивляться и ничем не смущаться. Но до сих пор, когда многие с восторгом рассказывают и напоминают мне о «прелестях»

царского режима в тюрьме и ссылке, сравнительно с коммунистическим режимом, я во многом соглашаюсь, но одно воспоминание об этом «каменном мешке», в сопоставлении с нежным образом Мани Кутитонской, заставляет меня вносить к этим прелестям существенные оговорки.

II

В ЧИТЕ

Четыре товарища, сосланные на каторгу, последовали дальше, а я и Чемоданова вышли на волю.

В то время в Чите была изрядная колония политических ссыльных, состоявшая большей частью из бывших каторжан-карийцев.

Группа ссыльных товарищей заняла целый дом бывшего декабриста, князя Волконского, и под руководством ссыльного товарища, искусного, профессионального столяра, Союзова, устроила в этом доме столярную мастерскую, которая пользовалась славой по всему Забайкалью. В этой мастерской, кроме всяких прочих предметов, обслуживавших местных обывателей, выделывались изящные письменные столы, шифоньерки, резные столы и этажерки, которые поставлялись на многочисленные прииска, обыкновенно не жалевшие денег на редкие и оригинальные вещи.

Главными и действительно искусными подмастерьями в артельной мастерской были: Леонид Шишко, Степан Богданов и Турович. В той же артели состоял важным членом профессиональный маляр-художник, Валуев, который умел раскрашивать вещи «под орех», «под мрамор» и подо что угодно. Его делом было также приготовлять чертежи и рисунки для резьбы на изящных предметах. В свободное время он поставлял образа и хоругви

для церквей, или золотил и раскрашивал иконостасы. Как истинный художник от природы, Валуев был и музыкантом: играл на гитаре, превосходно насвистывал всякие арии на губах и положительно неподражаемо играл на гребешке...

В то же время в Чите проживал Сергей Силыч Синегуб с своей женой Ларисой Васильевной и целым выводком детей. Там же проживала Фани Морейнис; сестра Андриана Михайлова и несколько других ссыльных, имена которых я не могу теперь припомнить. Некоторые из ссыльных служили на приисках, например, бывший кариец Фриденсон, к которому приехала из России жена.

Одним словом, колония ссыльных в Чите была в то время довольно многочисленная и состояла из видных людей.

В эту-то колонию, одновременно с моим прибытием в Читу, приехали американские путешественники — Джордж Кеннан и художник Фрост.

Не одну неделю мы провели время в постоянном и сердечном общении с ними, просиживая часто все ночи напролет в доме Волконского, где жили в трех этажах все члены столярной артели.

Отсюда, нагруженный разными письмами и сведениями, Кеннан ездил на Кару, в Акатуй и Зерентуй, чтобы познакомиться с каторжными тюрьмами. Отсюда же, по возвращении из этой поездки, Кеннан и Фрост отправились в Петербург и далее в Америку, увозя с собой массу документов и мемуаров.

Особенно памятен прощальный вечер, или скорее ночь, накануне их отъезда из Читы, когда собралась вся колония в доме Волконского, где Кеннан торжественно и со слезами на глазах заявил нам, что отныне он отдаст все свои силы, дабы загладить свою ошибку и представить в правильном

освещении поведение русского правительства и положение ссыльных в Сибири.

— . —

По освобождении из тюрьмы, я поселился в столярной мастерской в ожидании постановления областного правления о назначении мне местожительства в забайкальской области.

В те блаженные времена полицейский и тюремный режим, в противоположность западно-европейскому, отличался своей неустойчивостью и неопределенностью, ибо тогда полицейский произвол и деспотизм умерялись террором и взятками. По разным местам и в разные времена года наблюдалось великое разнообразие в судьбе ссыльных и в отношениях к ним со стороны местного начальства. Правильно гласила народная премудрость: «что ни город, то норов, что ни урядник, то новый обычай». В одном месте исправник, «земский», волостной писарь или простой урядник, под пьяную руку, нередко кричали на ссыльных:

— Скажи, — чего моя нога хочет?.. Ты знаешь?.. Хочу тебя с кашей ем, хочу со щами хлебаю...

И часто случалось, что жизнь ссыльных заедалась, и они захлебывались собственными слезами.

Но там, где попадался мало-мальски «добросовестный» взяточник, или просто от природы добрый или неглупый начальник, политические ссыльные пользовались огромным влиянием среди местного населения и почти полной свободой.

В общем можно сказать, что, несмотря на царивший по всей Сибири полицейский произвол, общее отношение местного начальства к политическим было почтительное и даже боязливое. Это объясняется тем, что в те времена политические ссыльные, сравнительно с позднейшими временами, были не столь многочисленны и состояли из цвета

русской интеллигенции, которая отдавалась движению с религиозным рвением, и за круговой порукой защищала честь и достоинство своих товарищей во всех случаях грубого оскорбления их со стороны предержащих властей.

Наказание власть имущих за оскорбление чести товарища были столь часты и систематичны, что самые жестокие полицейские чины и тюремщики старались воздерживаться от столкновений с ссыльными: на этапах старались удовлетворить во всем желания ссыльных, дабы благополучно и без скандалов доставить их до следующего этапа; а в ссылке — давали всякие льготы с единственной просьбой — не злоупотреблять своей свободой и не подводить местных властей под удары высшего начальства...

Бесстрашная защита политическими местного населения от несправедливых притеснений со стороны местных — низших и высших — властей создала по всей Сибири традицию почтительного отношения к «политикам» или «государственным преступникам», как к людям, «которые, по мнению инородцев, бурят и якутов, поссорились с самим царем и не боятся никакого остального начальства».

После трагических событий на Каре, в 1882 году, закончившихся выстрелом Марии Кутитонской в губернатора забайкальской области, Ильяшевича, — виновника карийской драмы, — в Чите установилось доброе согласие между колонией политических ссыльных и местным областным начальством.

Пользуясь этим, я просил областное правление не посылать меня далеко от Читы, в какую-нибудь глухую дыру. Правление пошло на встречу моему желанию и назначило местом моего жительства село Татаурово, черновской волости, на реке Ингоде, в 64 верстах от Читы.

До января 1886 года я жил беспрепятственно в Чите, наслаждаясь обществом старых и добрых товарищей, собирая в то же время полезные сведения о моих будущих согражданах — татауровцах.

Собранные сведения оказались как нельзя более полезными. От компетентных людей я узнал, что Татаурово — большое русское село, без церкви, расположенное на берегу реки Ингоды, у подножия Яблонового хребта, окруженное, как и другие села по Ингоде, бурятским населением ламайского вероисповедания.

Относительно самих жителей села Татаурова меня прежде всего предупредили: все татауровцы, от старых стариков до грудных младенцев, — по первому, по десятому, по всякому случаю и даже без всякого случая, — любят пить водку и бурятский тарасун, и притом во все часы дня и ночи, и напиваются «до белых слонов» и «зеленого змия». Опираясь на собственный горький опыт, некоторые из моих доброжелателей подсказывали мне счастливую мысль: дабы не спиться с кругу и в здравом уме и твердой памяти, окончив срок, возвратиться в Россию, мне надлежит постараться уверить гостеприимных татауровцев, что я ничего спиртного в рот не беру, что водка грозит мне смертью. При этом меня заранее предупредили, что татауровцы на этот счет никаких компромиссов не признают: или совсем не пей, или пей «до положения риз».

Наконец, получив проходное свидетельство от читинского исправника и попрощавшись с товарищами, я выехал в Татаурово накануне Крещенья, — с тем расчетом, чтобы, переночевав в Черновке, на другой день пораньше приехать на место. Я нарочно выбрал для приезда праздничный день, дабы иметь возможность представиться сразу всему населению.

Из Читы я написал местному старосте, извещая

его о моем приезде, и в самых любезных выражениях просил его помочь мне заранее подыскать квартиру и оказать всяческое содействие на первых шагах моей жизни в Татаурове.

III

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ТАТАУРОВЕ

Все шло, как по писаному. Оказалось, все село своевременно было оповещено о моем прибытии, так что при первых звуках колокольчиков ямщицкой пары лошадей, все жители, и стар и млад, сбежались к въезжей избе.

Сверх собственного полушубка закутанный в огромную доху, любезно предоставленную мне ямщиком, я с великим трудом не слез, а скатился с повозки, и представлял, сознаюсь, довольно загадочное зрелище среди празднично одетой и празднично настроенной толпы.

Когда я окончательно стал на ноги, прислонясь к повозке, ко мне стали сначала подходить, здороваться и заговаривать почтенные старики и местная знать: староста, сельский писарь, кабатчик, лавочник и местные богатеи. Видно было, что они не знали, какой тон взять в разговоре со мной. Заметно было их смущение и неуверенность: «что, мол, это за птица такая приехала — государственный»... Но когда я, войдя в дом, снял доху и оказался молодым, веселым и разговорчивым человеком, — отношение сразу изменилось. Лед сразу растаял.

В избе, наполненной народом, я громко заявил, что я прислан в Татаурово по царскому приказу специально затем, чтобы следить, чтобы мужики баб не обижали; чтобы водку пили, а ума не пропивали. И для начала — я попросил хозяюшку напоить меня горяченьким чаем.

Этого было достаточно, чтобы тотчас же завоевать симпатии дамского населения и закрепить за собой репутацию «весельчака».

Хозяйка быстро подала самовар и вместо сахару несколько мохнатых конфект к кирпичному чаю. Стол быстро уставился яствами.

Перед чаем предложили водки:

— С дороги, да с холодку — как не разогреться.

Я наотрез отказался, заявив, что давно уж не пью.

Все сомнительно покачали головами, принимая мой отказ за похвальную скромность человека, который не желает при первой же встрече, ничего не видя, лечь костьми.

Мне дали покойно напиться чаю и основательно «закусить», то-есть проглотить несколько вкусных ша́нег (ватрушек) и прочей снеди. И только увидев, что я, наевшись и напившись, стал тяжело дышать, — староста встал и чинно пригласил к себе в гости «на чаек».

— Я здесь человек новый, — ответил я, — а вы старожилы... Вам и книги в руки. Делайте со мной, что хотите: хоть на мне воду возите, только укажите, где на ночь голову преклонить.

— Ну, что об этом говорить, сказал староста... Коли и впрямь приехал баб от мужьев отбивать, так о чем горевать. Квартир сколько хочешь: где теплее, туда и полезай...

— А теперь, — продолжал он торжественно: милости просим ко мне чайку откушать, да мимоходом деревню посмотреть и себя народу показать. Вон — видите перед домом вся деревня собралась, — вас повидать хотят.

Я снова надел на себя черный дубленый и расшитый расейский полушубок и щеголем вышел на улицу.

Действительно, вся улица была запружена народом.

При нашем появлении толпа расступилась на момент, поглотила всю нашу компанию, и мы, окруженные этой толпой, двинулись на конец села, к дому старосты. Очевидно, толпа уже знала наш маршрут.

Мы двигались медленно, с остановками. Молодые бабы, парни и девки шли рядом со мной; они смеялись, толкали друг друга, не осмеливаясь заговаривать со мной. Зато старики и старухи смело подходили ко мне, трясли руку и говорили, смеясь:

— А, ведь, и впрямь про тебя говорят, что весельчака Бог послал... Дай тебе Бог здоровья.

В ответ на это я высмотрел самую дряхлую старуху, которая тоже шла в толпе. Подойдя прямо к ней, я спросил ее:

— Ты, поди, баушка, не узнаешь меня... Давай похристосуемся: Христос воскрес!..

И я три раза крест-на-крест поцеловал ее. Сначала она смутилась, но видя, что я не смеюсь, а в серьез христосуюсь, послушно и троекратно ответила:

— Воистину воскрес...

Вся толпа стала хохотать, глядя на смущенную старуху.

Тогда я остановился и громко пригрозил бабам и девкам, что если они будут смеяться над нами, стариками, то и с ними то же будет: всех перехристосую...

Вся толпа громко хохотала, провожая нас до ворот старостиного дома. Я видел, что симпатии населения уже завоеваны.

IV

В ГОСТЯХ

Отправляясь в гости к старосте, я предполагал, что уже напился и наелся досыта, так что у старосты

оставалось выпить две-три чашки чаю, а тем временем ближе познакомиться с аристократией села. Я видел, что к старосте шла «знатная» компания.

Моему разочарованию не было конца: пока молодуха раздувала самовар, хозяйка-старостиха навалила на стол груду всяких яств: баранину, жареную курицу, яйца, творог в сметане, шаньги и пышки в разнообразных видах. И все это, как оказалось, было наставлено, главным образом, для меня...

Здесь же произошла первая генеральная схватка из-за вина.

Хозяин, поставив на стол полштоф, наставительно произнес:

— Всухомятку есть не годится. Надо сначала горло промочить.

И подавая первую рюмку мне, добавил:

— Почетному гостю — милости просим!

Ничего не возражая, я по обыкновению «отвернул», то-есть сказал:

— Кушайте сами.

Староста и все присутствующие сразу поняли, что они имеют дело с человеком образованным...

Хозяин после того с чувством, толком и растяжкой выпил рюмку до дна и опрокинул ее вверх дном, показывая тем, как должны пить порядочные люди.

Следующая рюмка, наполненная до краев, направилась ко мне. Я вновь забунтовал:

— Мне показалось — говорю я, — что когда вы пили, то поморщились, а когда выпили, то не крякнули: должно быть водка плоха?..

— Что вы, — помилуйте! Водка — первый сорт!.. Вот у Ивана Федосеича берем: такой водки во всем свете не найти!...

— Нет, — продолжаю упорствовать я. Пока хозяюшка не удостоверит, я боюсь рюмку в руки взять...

— Старуха!.. — заревел в восторге староста. Подь сюда!... Покажи, что наша водка слаще меду!.. Слышала? «Поморщился», говорит... Покажи, как пьют!..

Довольная старостиха взяла рюмку, поклонилась, поздравила с праздником и с приездом и с таким же чувством, толком и растяжкой осушила рюмку до дна, потом — почмокала губами и основательно и весело крякнула.

Для всех было ясно, что все препятствия для моего выступления в свет устранены. Хозяева исполнили все свои обязанности добросовестно. Очередь была за мной... Дело подходило к критическому пункту.

В избу набились и незванные люди. Все были довольны и с нетерпением ждали дальнейшей развязки.

Новая рюмка, тщательно наполненная до самых краев, потянулась ко мне.

Взяв рюмку, я медленно встал, боясь расплескать ее, и, сознавая торжественность момента, когда глаза всех присутствующих обратились на меня, произнес маленькую приветственную речь. Во время речи все словно замерли: наступило полное молчание. Я видел и чувствовал, что все с напряженным вниманием следят за каждым моим словом, за каждым движением. Всем этим я сам был взволнован.

Я поблагодарил гостеприимных хозяев и добрых татауровцев за привет, за ласку, за радушную встречу чужого человека, который приехал не по своей воле и который искренно хочет дружески жить со всеми. Я просил добрых людей не покидать меня на новых местах, вдали от семьи.

— Вы видите, — говорил я, что я приехал поневоле и один одинешенек: моя старуха мать и родные остались в России. Вы, быть может, знаете,

— продолжал я, — что я не уголовный преступник. Я послан к вам без суда, по приказу царских министров. Вот поживем вместе, — сами увидите, какой я преступник.

В заключение я выразил надежду, что добрые и гостеприимные татауровцы заменят мне общество и семью.

— Пью за всеобщий наш мир, за лад и согласие...

Результат речи оказался для меня совершенно неожиданным. Одна из старух при окончании речи зарыдала. Все бабы тоже плакали. Маленькие дети, не понимая в чем дело, глядя на матерей, принялись тоже реветь...

Получился и смех и грех...

Я пригубил рюмку и возвратил хозяину.

С этого момента и завязалось генеральное сражение, в котором на этот раз я очутился в единственном числе, совершенно отрезанным и окруженным со всех сторон. В этом пункте все были против меня.

Положительно невозможно перечислить всех аргументов, которые приводились в пользу водки. Тут я узнал, что водка помогает во всех болезнях; что она укрепляет тело и поднимает дух. Ее можно пить и с горя и с радости. Даже мед приедается, а водка никогда. Притом, — нужно же понять, что в доброй компании трезвый пьяному, как гусь свинье, не товарищ...

К просьбам и настояниям присоединилась мольба любезной хозяйки. К их увещаниям присоединились все присутствующие в избе посторонние мужики и бабы.

Я продолжал сопротивляться изо всех сил. Я отбивался, приложив левую руку к сердцу, а правой держа полную рюмку, из которой выливалась благодатная жидкость.

В перекрестных просьбах и увещеваниях слышались и мольба и разочарование, отчаяние и даже угрозы, смешанные с надеждой на мое конечное исправление.

В своем оправдании я открыто сознавался, что раньше пил, и много пил. Но потом заболел, и врачи строго-на-строго запретили мне пить не только вино, но и пиво.

— Если вы не хотите мне лиха, — взмолился я, — то простите, пожалейте и не невольте меня.

Я видел, — огорчение было велико. В Татаурове гостеприимство измерялось числом выпитых рюмок. Всякие другие пития и яства считались лишь второстепенным придатком.

Наконец, жалость ко мне взяла верх, и на этот раз женщины первыми перешли на мою сторону:

— Ну, что ж неволить зря... — вступилась за меня первой старостиха. Коль в сам деле нельзя... Время еще не упущено... Пусть поживет, поправится... Тогда видно будет.

— Что же, и впрямь, коль нельзя, — поддержали меня другие женские голоса.

Однако, мне с большим трудом удалось, наконец, вручить рюмку обратно старосте. Мне пришлось очень долго его упрашивать...

Но и после того, рюмка несколько раз обходила весь круг приглашенных гостей и каждый раз спотыкалась на мне. Ибо, как и прежде, я не отвергал рюмки, а формально принимал ее, и, провозгласив заздравицу, пригубливал и возвращал хозяину. С каждой новой рюмкой вновь поднималась перестрелка аргументами за и против. Но с каждой новой рюмкой огонь моих противников все быстрее и быстрее ослабевал, и я выходил с поля битвы каждый раз с меньшим уроном.

— · —

В наказание за мое упрямство я должен был глотать безотговорочно стакан за стаканом то чай с молоком, то молоко с чаем и проглатывать неведомое число сибирских шанег, блинов и блинчиков и всякой прочей снеди. Короче говоря, я напился и наелся не просто до сыта — я уже сытым пришел к старосте, — а до умопомрачения, до отупения...

Я заметил, что уже стемнело только тогда, когда хозяйка поставила лампу на стол. Мне казалось, что дольше вынести гостеванье не может ни один человеческий желудок на свете. Я встал. Стал решительно благодарить хозяина за привет, за ласку, за радушное угощение, и снова попросил старосту указать, где мне можно преклонить голову на ночь.

Я до того наелся и напился, что с трудом мог стоять на ногах. Мне казалось блаженством — немедленно растянуться пластом хоть на голом полу, лишь бы вздохнуть свободно от впечатлений этого дня. К тому же, в избе стало душно. Все гости, сидевшие за столом, обливались потом и от выпитого чая и от выпитого вина.

Не успел староста открыть рот, чтобы ответить на мою просьбу, как с разных сторон послышались протесты:

— Что вы?!. что вы?!. С этих пор!..

И как раз под аккомпанемент этих протестов поднимается один из гостей и чинно и с поклоном приглашает меня, хозяина и присутствующих гостей пожаловать к нему в гости:

— Хлеба-соли покушать, белого лебедя порушить...

Как бы в ответ на мой протестующий и умоляющий вопль, вдруг от двери выступила вперед пожилая, щеголевато одетая женщина, как раз жена крестьянина, который только что пригласил нас в гости, и весело, но решительно заявила:

— Милости просим, все давно готово: самовар

и хлеб-соль на столе. Прошу честных гостей поскорей пожаловать, чтоб самовар не замерз...

— А насчет спанья, — добавила она, обращаясь больше ко мне, — теперь рано говорить. Ночь-то долга — выспитесь. Вот кума Алена тоже готовится: от нас к ним всех просят пожаловать.

У меня помутилось в глазах: передо мной вдруг открылась бездонная пропасть, куда провалились все мои надежды на покой, на отдых... Я мысленно махнул на все рукой и отдался на волю Провидения...

И Провидению угодно было, чтобы в эту ночь в Татаурове я побывал еще в трех или четырех домах, где гостей вновь подогревали неизменно чаем и вином.

Когда я взывал с мольбой о ночлеге, мне в упор ставили прежний аргумент в пользу водки.

— Водка крепит, придает силы человеку: трезвеннику против пьющего не выдержать...

Чтобы доказать противное, я решил выдержать испытание и претерпеть до конца.

Так продолжалось наше «гостеванье», с переходом из одного дома в другой, далеко за полночь.

Как ни утомительно и ни однообразно было это гостеванье, — питье и еда с разговорами, спорами и песнями, я выдержал искус блестяще, и до конца поддерживал оживленные беседы с выпившими людьми, не внося в компанию никакой дисгармонии.

Поддерживать это оживление, кроме моей молодости, помогало то обстоятельство, что, переходя из дома в дом, я знакомился, как по живой книге, со всей внутренней и интимной жизнью татауровцев, среди которых мне предстояло прожить, быть может, целые годы.

Передо мной обнажились все тайны села, вся внутренняя и внешняя политика каждой семьи. Известно: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Передо мной все старались вперегонки от-

крыть свою душу, свои и чужие грехи... В благодарность за то, что я терпеливо выслушивал их восторги и огорчения, исповедывавшиеся настойчиво лезли ко мне целоваться.

Короче сказать, несмотря на страшную усталость, я за одну эту ночь узнал то, чего посторонний человек не узнал бы и в долгие месяцы.

Время было далеко за полночь, когда целой компанией, и с песнями, меня проводили до «взъезжей» избы, где я нашел готовую постель: перину вместо подушки и теплую доху вместо одеяла.

Так началась моя жизнь в Татаурове.

V

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Забайкальская область обладает несметными природными богатствами. Ее подземные богатства до сих пор остаются не обследованными. Ее реки изобилуют ценными рыбами: омуль, хайрюс, нельма, таймень, не говоря об обычной, всюду распространенной рыбе, как сом, лещ, окунь, язь и т. п.

В Забайкалье имеется первобытная тайга, с хвойными лесами, где пасутся на воле различные дикие животные: козы, кабарга, олени, лоси и кабаны, волки, медведи и рыси.

Забайкалье переполнено золотыми россыпями и местонахождениями множества других минералов.

В топографическом отношении Забайкалье представляет собой обширное плоскогорие, изрезанное Яблоновым хребтом и его отрогами. До 50-х годов прошлого столетия холодный полюс земного шара относился к Забайкалью, к пункту, лежащему недалеко от Читы. Лишь после того наиболее холодная точка в северном полушарии отнесена в верхоянский округ.

И действительно, морозы близ Читы доходят до 50° по Реомюру. К счастью, в таком случае, они сопровождаются полнейшим затишьем. Я говорю — к счастью, ибо мороз даже в 20—30 градусов, при небольшом ветре, становится невыносим. При 50-ти градусном морозе наблюдаются чрезвычайно любопытные явления.

По всей долине реки Ингоды, да и во многих других местах Забайкалья, совсем не видишь снега. Все жители ездят зимой на колесах. Лишь реки покрываются толстой корой льда. Снег замечается во впадинах Яблонового хребта в горах. В долинах же изредка выпадающий снег быстро сносится ветром. Во время сильных морозов воздух становится столь чист и прозрачен, что на расстоянии пяти верст совершенно ясно слышен скрип несмазанных колес крестьянской телеги или двухколесной арбы.

В такие морозы дышется хорошо, и никакая тяжелая одежда не кажется тяжела. Двигаться и дышать в такое время следует размеренно и спокойно. При особенно сильных морозах нередко появляется туман из ледяных паров или ледяной пыли.

Сначала я часто отмораживал то нос, то уши, от чего местные жители спасали меня, растирая тотчас же побелевшие части снегом. Потом я привык обращаться с забайкальскими морозами, и с большим удовольствием ходил гулять именно в такие морозы. Для этого сибирское население изобрело шапку с наушниками; унты (меховые сапоги) на ноги. На руках рукавицы. Лицо одно остается открытым. Но сибиряки спасают лицо тем, что позволяют ему покрываться инеем, который образуется испариной и который держится на кожных волосках, не прикасаясь к телу, и, таким образом, лучше всего удерживает теплоту тела.

Когда на лице образуется слишком толстый слой снега или инея, его можно стряхнуть холодной

рукавицей, дабы он спадал в сухом виде. От прикосновения же голой рукой иней на лице тает, щека смачивается и тотчас же замерзает, белеет. Весь этот опыт мне пригодился, когда через три года мне пришлось идти в Сибирь во вторую ссылку и вести партию политических уже не летом, а зимой и в трескучие морозы.

Вообще, в течение двух лет, проведенных в забайкальской области, мои милые, гостеприимные татауровцы научили меня многому.

Река Ингода изобилует рыбами. Я ловил с ними рыбу вершами и удочкой.

В тесной компании профессиональных охотников, я ездил не раз на охоту на коз, на оленей, на рысей — в Яблоновом хребте, иногда за 20—30 верст и на несколько дней.

Профессиональные охотники имеют особых собак, которых берут с собой на охоту. Собаки обыкновенно пускаются вперед: они часто убегают в разные стороны на несколько верст от охотников и не меньше как попарно. Найдя, например, рысь, они загоняют ее на дерево. Одна собака остается сторожить, то-есть постоянно лаять на рысь, а другая мчится к охотникам, — звать, чтобы ехали...

Прибежав к охотникам, собака начинает неистово, радостно скулить, подпрыгивая к мордам лошадей, словно бы хотела укусить их за морду. Все, в том числе и лошади, узнаю́т, что найдена дичь, и что нужно спешить. Все, не исключая и лошадей, сразу оживляются и следуют за собакой, которая бросается вперед, и с лаем то и дело возвращается назад, чтобы показать направление и убедиться, что охотники следуют за ней. Оставшаяся собака все время лает на рысь. На ее лай другая собака приводит охотников. Случалось, что охотникам приходилось проехать верст пять, прежде чем подъехать к загнанной рыси. Убить тогда рысь очень легко.

Как кошка, она залезает от собак на самую вершину дерева, садится на сук и, положив морду на передние ноги и поводя ушами, зорко наблюдает вокруг. Она неподвижно смотрит на охотника в то время, как он в нее целится.

Сибирские охотники — замечательные стрелки. Среди них считается позором убить белку не в голову. Ибо пулька, прошедшая в другом месте, обесценивает шкурку. Они носят винтовки с сошками и стреляют пульками величиной с маленькую горошину. Этой пулькой они бьют и белку, и медведя, и сохатого. У каждого зверя охотник выбирает самое смертельное место и бьет почти без промаха... Белку бьет в голову, чтобы не испортить шкурки. С той же целью рысь он бьет или в глаз, или в ухо, или в переносицу. Козу и сохатого бьет в сердце. Смертельно раненого оленя и даже козу иногда находят с собаками, умирающими за несколько десятков верст от места стрельбы.

Подкрасться к оленям очень трудно. Самец, отличающийся от самок своими тяжелыми и ветвистыми рогами, которые спадают ежегодно, пасется обыкновенно с одной или несколькими самками. Чуткость их изумительна. При благоприятных условиях подкрасться к ним на выстрел можно только из-под ветра. Малейший треск под ногами, и все стадо бросается бежать без оглядки.

Процесс подкрадывания из-под ветра приводил меня в такое состояние, что я отказывался следовать за охотниками, и, оставаясь далеко позади, все время трясся, как в лихорадке, глядя на оленей и на охотников. Охотники ползут только вначале. Подходя ближе, если нет кустов, они становятся на ноги, и стоя во весь рост, часто по четверть часа остаются неподвижными, как статуи. Олени видят их, всматриваются, и если охотник выдержит позицию, олени принимают охотника за пень или

сломанное дерево и, успокоившись, принимаются щипать траву. Когда олень поворачивается задом, охотник делает шаг вперед и вновь окоченевает. Так охотники подходят на верный выстрел; так же они ставят ружье на сошки, и так же неподвижно прицеливаются в течение пяти-десяти минут, особенно, когда имеется несколько голов оленей, и подкрадываются несколько охотников, и когда требуются согласованные движения. Необходимо дать возможность каждому занять выгодную позицию и приготовиться к выстрелу. Наблюдая издали, я доходил до такого возбуждения, что закрывал глаза, чтобы не вскочить и не закричать:

— Караул!..

Разъезжая по горам и по тайге, охотники иногда нападают на тропу, по которой звери ходят на водопой. Тогда они на пути строят шалаши на деревьях и делают засаду, ожидая зверя в шалаше по несколько дней и ночей.

Рога самца, «сохатого», спадают ежегодно, и ежегодно выростают вновь. Когда они еще мягки и покрыты шерстью, они ценятся чуть не на вес золота. Чтобы увеличить вес рогов, череп убитого сохатого очищается от мозга, и в образовавшуюся черепную полость наливают свежей оленьей крови. Кровь, стекая вниз, проникает в рога, наполняет все пустоты хрящеобразной роговой массы и тем увеличивает вес рогов, которые затем продаются китайцам с весу. В Китае такие рога ценятся, как лекарственное или возбуждающее средство.

В селе Татаурове имеется много охотников, и среди них идет большое соревнование. Они держатся в каждом селе отдельными маленькими группами или товариществами в три-четыре человека. Кто бы ни напал на след крупного зверя, каждый извещает свою компанию, и они тайно от других уезжают на охоту. На охоте, кто бы что ни убил,

— вся добыча делится поровну. Доля дается и тому из товарищества, который почему-нибудь не мог поехать на охоту. Такие товарищества вызываются тем, что одному охотнику ехать далеко верхом и на несколько дней очень неудобно. Дальняя охота и за крупным зверем требует группы и разделения труда.

Вследствие такого обычая вначале мне было очень трудно попасть в какую-либо компанию. Для крестьянина охота была выгодным предприятием, находкой, добычей, которой не выгодно делиться. И когда я отказывался от всякой доли, лишь бы мне доставили удовольствие побыть на охоте, мне неизменно отвечали, что правила товарищества не позволяют делать какую-либо разницу между участниками.

— Нас все осудят, если узнают, что вы не получили своей доли, разъяснял мне расположенный ко мне охотник.

Прием же нового члена или приглашение хотя бы на одну охоту могло быть сделано только с согласия всех членов или участников. Я убедился потом, что присутствие неопытного человека среди охотников на крупного зверя доставляет им лишь лишние хлопоты. Что касается меня, я оказался столь страстным охотником, что при виде пробегающей мимо меня дикой козы у меня начинали трястись поджилки и... и опускаться руки...

Вот почему лишь долго спустя, по моем прибытии в Татаурово, когда я завоевал уже всеобщее доверие и почтение, то та, то другая компания, в знак благодарности за оказанные услуги одному из членов товарищества, тайно извещала меня за день или за два до выезда в горы, верхом на лошадях, из коих одну приходилось давать для меня. Выезжали обыкновенно ночью, чтобы никто из других охотников не знал и не видел направление пути.

Случается, что две компании давно уже выслеживают одного и того же зверя или целое стадо, и потому они зорко следят за поведением и движениями своих соперников, скрывая друг от друга свои наблюдения и приготовления. Выжидать приходится часто недели и месяцы. Сохатых бьют, например, в период, когда у них отростают достаточно рога. Найденная берлога медведя тоже скрывается на целые недели. По всем этим основаниям, каждый сочлен должен хранить свой отъезд в большом секрете.

Но глубокой осенью происходят так называемые «гонки» или «загоны». Для этого обыкновенно соединяются все охотники и даже неохотники, до 20—30 и больше человек, с собаками, вооруженные винтовками и без винтовок. Кто на лошадях, кто пешком, все отправляются в горы, покрытые таежными лесами. Человек 10 или 15 из опытных охотников, с винтовками, располагаются цепью в намеченных местах, а остальные участники с собаками, пешком и на лошадях, располагаются еще более широкой цепью и полукругом, версты за четыре за пять от охотников, и с шумом, гамом, с собачьим лаем и даже с выстрелами — гонят всякую дичь в направлении к засевшим в проходном месте охотникам. На охотников набегают зайцы, козы, волки и даже медведи.

При удачных гонках привозят убитыми до десятка диких коз. Эти гонки составляют праздник для целого села. В загонщики идут ради удовольствия многие дилетанты. В этих гонках, при всем моем честолюбии, я всегда предпочитал оставаться дилетантом: быть охотником с сибирской винтовкой в таких торжественных случаях мне казалось делом черезчур ответственным...

Справедливость заставляет сказать, что под конец ссылки, когда я обзавелся моей родной «крын-

кой», с которой воевал против турок, я стал смелее, и ездил далеко в горы даже один или вдвоем, не боясь ни коз, ни зайцев...

Для профессиональных охотников я мог бы здесь рассказать много интересных анекдотов из тех немногих совместных поездок, в которых я принимал участие. Но... во-первых, я боюсь увлечься и отклониться от главной намеченной мною темы; во-вторых, — боюсь, что читатели перестанут мне верить, ибо установлено исторически, географически и даже астрономически, что все охотники на свете, рассказывая о своих приключениях, нещадно врут, или — говоря деликатным языком — по крайней мере в десять раз преувеличивают. Не могу поручиться и я сам за себя.

А потому перейдем к фактам.

VI

Я СТАНОВЛЮСЬ ВРАЧОМ

Первое время я жил без определенного дела: ходил по селу и окрестностям, знакомился с жителями, посещал больных по домам.

Я привез с собой маленькую походную аптечку, каковой многие из ссыльных запасались еще сидя в Москве, — в том предположении, что, может быть, придется жить в каком-нибудь глухом углу, где нельзя достать медицинской помощи.

Об этой аптечке тотчас же узнали жители, и ко мне стали приходить со всеми немощами, как к настоящему врачу. Никаких отводов не допускалось. В представлении сибирского населения «политический» должен быть мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. А уж людей лечить и подавно.

Правда, я запасся медицинскими книгами. У

меня были лечебники, предназначенные для пользования фельдшерам и акушеркам. Но даже и без лечебника простое внимание образованного человека могло оказать огромную пользу при многих болезнях, где требуются простые средства вроде слабительного или хины, а при ранах — просто присмотр за чистотой, дезинфекция или регулярная перевязка. Вообще, при заброшенности туземного населения, которое привыкло лечиться у ворожей и знахарей, образованный человек, при добром желании, может сделать очень многое.

Позднее, когда врачебная слава за мной окончательно закрепилась, в серьезных случаях я стал вызывать из Читы местного врача. Врач хотя и пил горькую, но сам по себе был человек порядочный: охотно ехал по моим вызовам и был мне очень благодарен за то, что я занял у него место добровольного фельдшера. Под его же руководством я специализировался и на выгонке ленточных глистов и солитеров, которыми в Сибири страдает чуть не сплошь все население.

Это искусство впоследствии, при второй моей ссылке, в иркутской губернии, создало мне неувядаемую славу среди бурятского населения.

VII

Я СТАНОВЛЮСЬ УЧИТЕЛЕМ

Из всего выше изложенного можно догадаться, что я очень скоро ознакомился с населением и быстро приобрел всеобщее доверие и уважение. Согласно правилам о поднадзорных, административно-ссыльным запрещалась всякая культурная деятельность, всякая врачебная, адвокатская или преподавательская практика. Запрещалось даже давать частные уроки.

Предупредив об этом население, я предложил, однако, устроить в Татаурове школу под моим руководством. Татауровцы обрадовались, и через неделю после этого предложения в Татаурове открылась маленькая школа для мальчиков и девочек.

В селе стоял пустой дом, предназначавшийся раньше под волостное правление. Здание состояло из большого зала и двух маленьких комнат. Оно было необорудованное, трудно отапливаемое, без двойных рам в окнах. Теплоты и удобства ради, одна из малых комнат пошла под школу, а в другой поселился я сам. Столы и скамьи оборудовали местные плотники, а дрова для отопления, как и все прочие школьные принадлежности, доставлялись родителями учащихся.

Вскоре школа стала рости, и в малой комнате почувствовалась теснота. Но ребята предпочитали всю зиму сидеть в малой комнате, ибо большое зало натопить до тепла не было возможности. Ребята предпочитали сидеть в смежной прихожей и в моей комнате:

— Руки не зябнут, говорили они.

— А там руки не пишут...

Так, к профессии врача присоединилась должность учителя...

Я пользовался полной свободой передвижения. Вместе с доктором я мог разъезжать по всему читинскому уезду. В Читу я ездил часто, чтобы повидаться с товарищами. Приезжал и экстренно, с нарочитой целью повидать проходивших этапом через Читу в ссылку товарищей каторжан-карийцев, о чем читинцы немедленно узнавали от наших товарищей из Сретенска или Нерчинска и сообщали мне о дне их прихода в Читу. Иногда удавалось их отпросить из тюрьмы к нам в мастерскую, под предлогом выхода за покупками под надзором знакомых ключников.

Осенью 1886 года, с ведома исправника, я ездил с «земским» (сибирский становой пристав) вдоль монгольской границы в читинском и акшинском уездах, объявленных «неблагополучными» по мору на скот и даже на людей. Требовались сведения о состоянии этих местностей для составления доклада губернатора на высочайшее имя за текущий год. За малограмотностью полицейской администрации мое литературное содействие сочли очень ценным. В течение двух недель мы объехали несколько бурятских «дацанов» (храмов), приисков и казачьих станиц. Были в Акше, даже на 30 верст за Акшей, в Монголии, куда нас возил в гости атаман одной станицы.

Короче сказать, чем дольше я оставался в Забайкалье, тем больше увеличивались и осложнялись мои повседневные занятия. До ссылки я вел свое самостоятельное крестьянское хозяйство в своем селе. В течение лета мне доставляло удовольствие косить и жать с крестьянами, отчего мой престиж только поднимался среди местного населения.

Татауровцы, как и все население по Ингоде, были люди зажиточные. Земли они могли иметь вдоволь. Правда, обнаженной земли в долине Ингоды было мало. Но каждый крестьянин мог расчищать в горах пади, выкорчевывать деревья, что было делом очень нелегким. У всех было много скота.

Административно-ссыльные в Забайкалье получали месячного пособия 9 рублей, так как, по правилам, им запрещалась всякая культурная деятельность. В одном крестьянском семействе за стол, за квартиру, со стиркой и починкой белья, я платил 7 рублей в месяц. Два рубля оставалось на шильце, на мыльце и на все прочие излишества.

В школе я учил даром. Но родители детей по своей воле платили мне кто рубль кто два в месяц,

что превращало меня сразу в страшного богача. Яиц, молока, кур и гусей можно было иметь сколько угодно. Короче сказать, в материальном отношении — была не жизнь, а масленица.

Вот при таких-то условиях я познакомился впервые с проживавшим в Татаурове ссыльным штундистом, Елисеем Сукачем.

VIII

ЕЛИСЕЙ СУКАЧ

Вскоре по открытии школы, во время занятий, в помещение школы вошел пожилой крестьянин в сопровождении двух молодых людей. Крестьянин был ниже среднего роста, худощавый, с подстриженными на лбу волосами скобкой, что сразу отличало его фигуру от других местных жителей. Несмотря на зимнее время, он пришел без шапки. Молодые люди были его дети — 18 и 16 лет. Старший был детина полный, среднего роста; младший был худой и походил во всем на отца.

С неловкими поклонами крестьянин заговорил медленно, словно отыскивая каждое слово. Я сначала думал, что он заика. Но в дальнейшем обнаружилось, что он просто не оратор, и ищет подходящие слова, которые произносит очень отчетливо и обдуманно. Часто поправляет себя. В разговоре младший сын очень часто приходит на помощь отцу в отыскании подходящих слов. Во время своей речи, как бы для того, чтобы ускорить течение своей мысли, отец машинально поглаживал левой рукой свои стриженные волосы на лбу.

— Вот — до вашей милости пришел, — заговорил он с каким-то акцентом. — Сынки... Читают уж... Евангелие... А писать не очень. Младший и

письма пишет, да не очень. Хотелось бы лучше. Не будет ли, милость ваша, подучить? Что следует заплатим.

Я предложил молодым людям занять место среди учеников. Они вышли наружу и немедленно вернулись, внося с собой каждый по маленькой табуретке, на которых и уселись. Я видел, что пришли люди сообразительные и все предусмотрели.

Уходя, отец просил меня в свободное время зайти к нему в гости, чайку откушать, угоститься, чем Бог послал. Я обещал, и мы на этом расстались.

Так как в школе сошлись дети разных возрастов, разных способностей и предварительной подготовки, то я избрал систему взаимного самообучения. Грамотные обучали неграмотных, после моих предварительных объяснений. Они быстро усваивали звуковую систему азбуки, хотя сами обучались по системе «а-бе-ве». Тоже применяли и к арифметике и обучению письму. В процессе преподавания молодые «учителя» превосходно закрепляли свои знания, стараясь на все лады передавать свои знания. Позднее, рассадив учеников в разные комнаты, я обходил всех по очереди, наблюдая за обучением каждого. «Учителя», одновременно, исполняли и свои ученические задания. Я достиг того, что при моих отлучках в Читу или на охоту школа продолжала «самообучаться».

По записи в книгу, я узнал, что два вновь вступившие молодые люди были Тимофей и Самсон Сукачи, а их отец — Елисей Сукач. В первую же субботу Тимофей, от имени своего отца, просил «завтра», в воскресенье, пожаловать к ним. Я обещал прийти.

IX

В ДОМЕ СУКАЧА

В воскресенье, задолго до обеда, пришел ко мне старший сын Тимофей вновь позвать и проводить меня в их дом.

В селе Татаурове имеется две улицы, параллельные реке и горному хребту. В конце верхней улицы стояла изба Елисея Сукача, — небольшая, но построенная из толстых бревен, внутри гладко обтесанных. При избе был двор и другие постройки, указывавшие на наличность скромного крестьянского хозяйства.

Внутренность избы производила особенно приятное впечатление: не только стол, скамейка и лавки, но самые стены избы, казалось, блестели: такая всюду царила чистота. С нашим приходом все пришло в движение. Изба оказалась густо населенная: кроме отца и двух взрослых сыновей, в ней оказались еще два мальчика 5—7 лет. Из-под печки выглядывала на длинной шее голова «хворого» гуся. Но главным лицом, наполнявшим избу, была вездесущая хозяйка, — женщина пожилая, но здоровая, сильная, подвижная, приветливая и радостная.

При входе в избу, тотчас же бросилось в глаза, что в переднем углу совсем не было никаких образов.

Правда, жители Татаурова не отличались набожностью. Лишь в случаях особой надобности кое-кто из пожилых людей ездил в праздники в соседнее село, где имелась церковь. Вообще же татауровцы привыкли жить «бесцерковниками». Но все же в каждой избе имелась в переднем углу образница и образа. Образница столь характерная принадлежность крестьянской избы, что ее отсутствие невольно поражало глаз. Только в торжественных случаях, при посещениях друг друга, татауровцы крестились

на образа, при входе в чужую избу. В обычное же время только разве особый «богомол», бывало, «перекрестит лоб».

Про меня же уже распространилась слава, что я не крещусь на образа, в церковь не хожу, курю, но водки не пью. И несмотря на эти художества, — числюсь «православным».

Я перездоровался со всеми живыми существами, до хворого гуся включительно. И все охотно и приветливо подходили и трясли мою руку. Только гусь спрятал свою голову и шею, принимая меня за чужестранца.

Чисто вымытый стол быстро покрылся белоснежной скатертью. С такой же поспешностью печь раскрыла свою пасть и начала извергать бесконечные яства на виду у всех. Часть яств приходилось «студить», прежде чем поставить их на стол и передать в распоряжение человеческих желудков. В виде предвестников пира, появились чайные чашки и топленые сливки с пенками... Жареная курица, выскочив из печки в глиняной плошке, перевернувшись на другой бок, снова залезла в печку.

Пока самовар не появился на столе, разговор шел отрывочный и касался больше вопроса об определении моих вкусов, об обильном снабжении стола всякой всячиной, при чем вырабатывались сообща всей семьей, под контролем гостя, наисовершенные формы человеческого гостеприимства.

Только усевшись всей семьей за стол, под руководством энергичной хозяйки, разговор с материального перешел на духовное. Главным оратором формально был сам хозяин, Елисей Сукач, а незаменимым гидом его была его жена, хозяйка, Марья. Там, где спотыкался Елисей, его верная спутница Марья посыпала путь розами и своими коментариями излагала мысль Елисея с такой ясностью, что сам Елисей приходил в восторг от ее искусства.

Весь этот день до поздней ночи я провел в беседе с этим замечательным человеком, на вид столь невзрачным и почти косноязычным.

В этот раз я узнал историю его жизни лишь в общих чертах. Я узнал, что Елисей Сукач — ссыльно-поселенец, сослан по суду, бывший крестьянин киевской губернии, типичный малоросс. Судился за принадлежность к «вредной секте» людей, которых противники называли «штундистами», а сами штундисты называли себя «духовными христианами» или «баптистами». Главным пропагандистом штундистского учения был, по утверждению Сукача, крестьянин Иван Рябошапка, которого Елисей сам видел и слышал.

Елисей сказал, что до Рябошапки он был совсем темный человек. Был предан обрядовому православию, но послушав Рябошапку, он познал свои заблуждения и решил жить истинно по-христиански. Он перестал поклоняться образам. Поп стал натравливать на него односельчан, и те помогли попу осудить его в Сибирь на поселение.

— То было дело в половине 70-х годов, говорил Елисей, когда мы с женой были помоложе и посильнее. И вот, Бог помог нам живыми сюда дойти страшным этапным путем из Киева с двумя малыми ребятами, которых и привел к вам уму-разуму поучиться.

— Дома мать старушка осталась. Года два прошло, пока не поселили здесь. Написал письмо матери. Обрадовалась. Пять рублей денег прислала. Откуда взять старухе? Отписал, чтобы себя не теснила, денег не присылала, сама себя берегла. После нашего несчастья она без крова осталась, к родной сестре жить перешла. Во время этого греха, всю мою хату растащили, матери приютиться негде было. А тут опять письмо от матери. Пишет: в своей хате живет, и еще 10 рублей прислала. Что,

— думаю, — за диво! Кто хату построил? Откуда старуха денег взяла? Опять написал, — спрашиваю: Кто хату оправил? Много времени прошло,—ответила: «Добры люди, говорит, помогли. Бог послал: тебя вспомнили». И с каждым письмом то 5, то 10 и даже 15 рублей присылает. Долго ничего понять не мог. Рад был, что старуха жива и словно большой нужды не терпит, а как все там вышло, ничего не пишет. Сам ни читать, ни писать не умею. Старшего Тимофея старался обучить, да как следует не у кого было. Сам, больше самоучкой, дошел. Писарь кой когда показывал. А как следует написать домой не может. Поклоны научился хорошо писать. Только стали раз письмо на родину писать. Пиши, говорю, Тимофей, поклонов больше, всех помяни; и всем недругам, которые мне лихо делали, и тем напиши, кланяйся. Так мы, почесть, все село переписали. У всех прощенья просил. Только — послали письмо. Ждем ответа. Известно, — далеко. Месяцы ждешь. Опять пришло. Тоже большое. К материному письму приложено. Прямо от сельчан. И поклонов нет, а человек 20 подписано. Такое письмо, такое письмо... Я целый день ревма ревел, словно малый ребенок...

— Поди, Самсон, достань письма, — обратился Елисей к сыну.

— Вот прочтете сами, продолжал он, обращаясь снова ко мне. Подписались самые что ни на есть первые мои недруги, которые утопили меня. Бог послал, и на них просветление нашло. Прочтете, — сами увидите...

Самсон принес целую пачку писем, сложенных в своих конвертах. Я подобрал письма в хронологическом порядке и читал их с возрастающим интересом. Наконец, дошел до письма, о котором говорил Елисей, и которое заставило его «ревма реветь». На меня, уже немного подготовленного рас-

сказом Елисея и предыдущими письмами матери, это письмо тоже произвело потрясающее впечатление.

Оно начиналось:

— Возлюбленный страдалец, истинный брат наш во Христе, Елисей.

Прости ты нас, окаянных, клятвопреступников и гонителей.

Воистину ты прав был, когда мы надругались, надругались над твоими страданиями, а ты, помня в этот страшный час слова Господа нашего Иисуса Христа, — трижды воскликнул: «Прости им, Господи, — не ведают, что творят».

Мы же, недостойные, вместо того, чтобы пасть на колена перед мучеником, сделали неслыханное поношение всему дому твоему и, как Иуда продал Христа, мы нарушили клятву на суде, лжесвидетельствовали против тебя, осудили и ввергли в темницу и сослали в Сибирь. Это мы сослали в Сибирь. Не знаем, как и чем загладить наш грех».

Прочитав это письмо, я увидел, что передо мной развертывается настоящая драма в эпическом стиле, только героями ее являются черезчур серые, невзрачные люди.

Но по мере того, как я подвигался в чтении других писем, являлась потребность ознакомиться ближе и подробнее с историей дела Сукача, его суда и ссылки. Ибо для меня самого, только по ознакомлении с прошлой жизнью Елисея Сукача и его семьи, эти невзрачные люди стали вырисовываться во весь рост.

С тех пор, т. е. после нашего первого знакомства на дому, наши отношения становились все дружественнее и теснее. Тимофей и Самсон продолжали ходить в школу, занимались прилежно и делали большие успехи; особенно способным оказался младший сын Самсон. В свободное время, в будни и в праздники, я часто заходил к Елисею

и его жене и подолгу и подробно расспрашивал их, сообща и порознь, о всех обстоятельствах их прежней жизни, суда и ссылки. В своих рассказах Елисей касался главным образом идейной и моральной стороны их дела. Марья же замечательно образно передавала бытовую сторону их прежней жизни. Оба они служили необходимым дополнением друг другу. Он думал больше о небесном, а она — о земном.

Для того, чтобы все последовавшее было более понятно, необходимо познакомить читателя более подробно с делом Елисея Сукача.

X

ИСТОРИЯ ЕЛИСЕЯ СУКАЧА

В одном из уездов киевской губернии, среди зеленеющих полей и лугов, стояло довольно большое село, с чистыми, выбеленными низкими хатами, окруженными огородами и фруктовыми садиками. Во всем была видна беднота и недостаток... Но «хохлушка» известна всей России своей образцовой чистоплотностью и заботой о своей хатке, вишневом садочке и огороде: чистотою и строгим порядком она умеет прикрывать от глаз постороннего эти недостатки и бедность, она умеет вносить поэзию даже в нищету.

Среди других хат отличалась особым убожеством хата Елисея Сукача, напоминавшая своим видом столетнюю старуху с морщинистым лицом, повязанную чистым, белым праздничным платочком. Рамы окон, тщательно вымытые и выскобленные, обрамляли разбитые стекла, перемешанные с лоскутами бумаги, тонких дощечек и животного пузыря. Все указывало на нищету и нерадение со стороны хозяина дома. Зато огород, вишневый садочек, по-

рядок и чистота в убогом хозяйстве указывали тем более на достоинства и образцовые качества хозяйки этой хаты.

И действительно, эта убогая хата принадлежала всем известному «святоше», «богомолу» — Елисею Сукачу, который большую часть времени проводил в церкви, чтобы добровольно помогать церковному сторожу звонить в колокола, убирать храм, подавать попу кадило, свечи, — для чего он пользовался привилегией расхаживать по церкви во время службы и стоять в алтаре. Ему некогда было заниматься хозяйством: в свободное от службы время он работал добровольно и без вознаграждения на попа, разъезжая с ним по приходу для сбора с прихожан шерсти, яиц, печеного и зернового хлеба; мел поповский двор, ходил за скотиной, — одним словом — был добровольным работником. Он искренно думал, что, состоя в близких отношениях к попу, он ближе стоит к Богу, а потому и к спасению своей души.

Видя его образцовую и упорную преданность, поп и его семейные привыкли обращаться с Елисеем хуже, чем с наемным работником.

Ни расстройство его хозяйства, ни слезы детей, ни просьбы и упреки его жены, родных и сообщественников, — ничто не могло отвратить его от излишней преданности к попу, к церкви, — к Богу, как он полагал. Вся горечь обиды, упреков и ежедневных лишений вознаграждалась в воскресенье, когда все его обидчики и порицатели должны были уступать ему дорогу или место в церкви, где, имея привилегию подавать попу кадило, только он один целовал поповскую руку, приемлющую сосуд с благовонием.

В такое-то время на селе появляются слухи, что где-то какой-то крестьянин, по прозванию Иван Рябошапка, учит какой-то новой вере, и что многие

из крестьян, послушав его проповедей, стали исповедывать новую веру.

Вскоре это подтвердилось, ибо среди прихожан пошли слухи, что люди живут не «по-божески», что попы — простые обманщики, что за свое поведение, за пьянство, за поборы с бедных людей они недостойны называться служителями Бога; что Бог — всемилостивый и не нуждается в подачках и приношениях ему, что восковые свечи перед иконами и сами иконы выдумали попы для своей выгоды, и что иконы — идолопоклонство, и т. д., и т. д.

Слыша такие разговоры среди крестьян, которые иногда насмех, нарочно при Елисее заводили такие разговоры, Сукач был готов на костре сжечь таких богохульников, подрывающих его авторитет в церкви: признать такое учение — значит отрицать добродетель в целовании поповской руки, в звоне колоколов, в подавании кадила и даже в самом кадиле?...

Сами попы не были настроены так враждебно против Рябошапки, как Елисей Сукач.

И вот, при таком-то настроении Елисей едет на ярмарку в соседнее большое село с своим односельцем Григорием. (Называю «Григорием», но точно ни имени, ни фамилии теперь не могу припомнить; название сел тоже не могу вспомнить.) Дорогою разговор заходит о Рябошапке, и Григорий по секрету сообщает Сукачу, что во время ярмарки приедет Рябошапка — учить народ, и что если Сукач обещает не доносить, то он, Григорий, может доставить ему случай послушать Рябошапку.

— От этого тебя не убудет, — закончил Григорий.

Сукач дал слово — никому зря не говорить, и спутник его, однажды уже слышавший Рябошапку, по приезде на село, ввел Сукача в собрание или, попросту говоря, на сходку, происходившую в од-

ной большой избе. Народу было много. Все, как и сам Сукач, с нетерпением ждали появления крестьянина проповедника. Наконец, Рябошапка вошел.

Не перекрестившись, как бы следовало по обычаю, на образа, стоявшие в переднем углу, Рябошапка отвесил три медленных поклона в разные стороны и, усевшись в переднем углу за столом, начал свою проповедь.

Его грубое загорелое лицо, грубые мозолистые руки, не богатая, но опрятная праздничная одежда, умные глаза, благородное и решительное выражение лица, чистый голос и высокий рост, — все это сразу приковывало внимание слушателей, независимо от содержания его речи. Повидимому, Рябошапка знал все изгибы крестьянского ума и сердца, все тайные и случайные думы каждого крестьянина.

Во время его речи стояла мертвая тишина. Только вздохи мужчин, да всхлипывания женщин время от времени давали знать, что этот одинокий голос — не «голос вопиющего в пустыне».

— Не учить вас пришел, а учиться, — говорил между прочим Рябошапка. — Ум хорош, а два лучше, — говорили старики. Мы все здесь крестьяне, крестьянами были и наши отцы, которые с незапамятных времен научились жить миром («громадой»), работать, жить и умирать на миру. «На миру и смерть красна». Только мирской человек может следовать величайшей заповеди Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ибо только мирской человек, думая о себе, о своих нуждах, думает в то же время и о нуждах своих мирян. Мир и завещан нам нашими отцами для того, чтобы люди жили в мире и по-божески, чтобы бедный находил в нем себе защиту от богатого и сильного. Все, что человек делает миром, он делает столь же для себя, сколько и для своих ближних. Мир и есть «Церковь», ибо церковь, по слову Христа,

есть не деревянный или каменный храм, — с колоколами, восковыми свечами, с образами и разодетыми в золотые ризы попами, — а живое собрание живых людей, соединенных любовью к Правде и к своим ближним. Бог есть Правда, Бог есть Истина и Справедливость, Бог есть Любовь. И Христос сказал: «Где двое или трое соберутся во имя мое, — там Я посреди вас». Вот такое собрание и есть истинная церковь, а члены ее — истинные братья и сестры во Христе. Мир есть церковь и церковь есть мир. На мирских сходах для чего мы собираемся? Разобрать жалобу, восстановить попранную справедливость, разделить общую кормилицу землю, обсудить сообща, как лучше и легче осилить какую-либу тяготу или напасть. Мир есть истинная Церковь, истинная и великая сила. Кто живет вне мира, тот живет только для себя и на счет своего ближнего. Таких людей наши отцы недаром называли «мироедами». Были и есть, говорят, люди, которые и людей едят и потому называются «людоедами». Но ведь эти люди — дикие люди, и, может быть, с голоду поедают людей. А «мироед» — человек богатый, живущий в довольстве, — поедает не тело человеческое, а душу, поедает мир, то-есть Церковь»...

Речь эта произвела потрясающее впечатление на Елисея Сукача.

Разбирая жизнь поповскую и церковное ханжество православия, Рябошапка с удивительным мастерством и образностью нарисовал несколько типов этих ханжей и лицемеров; и как будто-бы для Сукача одного описал пустоту и унизительность целования поповских рук, бессмысленность кадил, чтения и богослужения на непонятном для крестьянина старославянском языке. И, наконец, поразил Сукача окончательно вопросом:

— Кто из вас, присутствующих, самый стар-

ший и более опытный в церковных делах? Выдь ко мне и объясни: что значат эти кадила, свечи, чтения, пения, выходы, облачения и разоблачения, — и зачем все это? Объясни, что читается в разное время службы, а главное — для чего читается? И кто понимает смысл всего этого? Что говорит уму и сердцу вся эта непонятная тарабарщина?

— Я вижу, — продолжал Рябошапка, — что никто из вас не выйдет, потому что этого никто из вас не понимает и объяснить не может. Значит, если вы не понимаете, что делается в церкви, если вы думаете, что в этой пустой обрядности состоит служение Богу и в этом состоит учение Христа, то вы совсем не христиане, потому что до гробовой доски не знаете, что и зачем читается, поется, кадится и вообще зачем совершается вся эта обрядность.

— А я вам говорю: вы действительно не христиане, потому что вы не знаете и потому не исполняете истинного учения Христа. А все его учение в одной заповеди: «Возлюби Господа Бога всей душею твоею, всем сердцем и помышлениями твоими; и возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этой заповеди, — сказал Христос, — весь закон и пророки. Бог есть Любовь, Истина и Справедливость. Только в мире можно любить людей и делать им добро. Мир есть истинная церковь. Истинная церковь есть мир...

XI

ПРОБУЖДЕНИЕ

С понурой головой и с какими-то неведомыми дотоле чувствами вышел Сукач из собрания. Не мила ему стала ярмарка. Купили наскоро, что надо было, запрягли лошадь и отправились домой. Доро-

гой и разговор как-то не вязался у них, ибо Сукач был мрачен и жил как бы в пространстве: отныне старая почва поколебалась и провалилась куда-то из под его ног. Спутник его переживал такие же чувства и с некоторым страхом смотрел на Сукача, потому что знал его упрямый характер и глубокую набожность. Он боялся даже с ним разговаривать о слышанном, и потому за всю дорогу были слышны только одни его тяжелые вздохи. Молча доехали они до своего села, молча расстались.

Отныне жизнь Сукача превратилась во внутренний, душевный ад. Мысль и чувство, раз разбуженные, не находили себе покоя. Никто лучше его не понимал теперь справедливых речей Рябошапки. Его неотступно преследовал вопрос проповедника: «Кто из вас понимает, что именно делается в церкви и зачем делается»? — Не ему ли, Елисею Сукачу, лучше знать это, чем другим крестьянам, а он не знает... Он знает, как звонить в колокола, как подметать церковь, как и когда подавать кадило и целовать поповскую руку, когда стоять в алтаре и когда на амвоне; знает, когда и куда пойдет поп, когда будут читать или петь на клиросе, но для чего и зачем это нужно — не знает, не понимает...

К удивлению своей жены, он на другой день не пошел к попу, и принялся работать усердно по хозяйству. Не ругал детей; как-то странно и приветливо обращался с женой, которая не знала, чему приписать такую перемену в поведении мужа. Не то с радостью, не то со страхом стала она тайно наблюдать за мужем.

Приходит следующее воскресенье. Все село — и стар и млад — идет в церковь. Пошла и жена Сукача, Марья, поставить свечку Николаю угоднику за обращение мужа на путь истинный. Пошел и Елисей с бурей в душе.

Долго поп поджидал его: без него дело не ла-

14

дилось: огонь не разведен, свечи, где нужно, не зажжены, — ничего не готово...

Продвинулся Елисей вперед; молча выслушал суровый укор священника и принялся привычной рукой исполнять свои обычные обязанности. Ставит свечи, разводит огонь для кадила, а тайный голос шепчет ему: «Зачем?»... Он не мог отказаться от своих обычных обязанностей во время службы, ибо это значило бы объявить войну православию, обнаружить его нового Бога и немедленно вступить в борьбу с вековой рутиной, предрассудками и невежеством, подкрепленными всей силой русского полицейского деспотизма. Это было еще выше его сил. Он еще не возмужал, не окреп до этого. С отвращением целовал он руку попа, подавая ему кадило, — и все-таки целовал... Не ходил он с гордостью по церкви, как в былые времена, чтобы насладиться видом поспешно расступающейся пред ним толпы. Он передвигался теперь только в случае крайней необходимости. Его неотступно преследовал вопрос: «Зачем?»... По окончании обедни, он не пошел «трезвонить» при отходе молящихся из церкви. И потому колокола, под непривычной рукой какого-то новичка, вздорили, путались, мешались, как бы воспроизводя своим беспорядком дисгармонию Елисеевых чувств и мыслей. Елисей заметил эту колокольную дисгармонию, мрачно прислушался к вздорящим медным голосам... «Зачем?»... — вырвалось у него.

— Ты болен, что ли, Елисей, — спрашивали его прихожане и сам поп. — На тебе лица нет, — добавляли участливо односельцы. — Не Бог знает, какой грех... можно и от храма Божьего на время отказаться, коли уж очень невмоготу»...

Молчит Елисей, — ни слова в ответ.

Чем дальше, тем все страннее и страннее становится. Работает Елисей с утра до вечера, хлопочет

по хозяйству: сбрую чинит, навоз вывез, двор подмел, плетень поправил; работал даже неделю в людях, по найму, с своей лошадью, — возил кирпичи. Съездил на базар; стекла купил, окна на зиму оправил. Дивятся люди, глядя на Елисея.

— За ум — говорят они — Елисей взялся... А то — все в церковь да у попа; ребятишек совсем было бросил. Да и поп-то хорош... Нашел дурака и ездил на нем даром. А еще священником прозывается!.. Недаром про попов и пословицу старые люди сложили: «У попа глаза завидущи, а руки загребущи». — «Поп, что малый ребенок: что ни увидит — сейчас и руки протягивает»...

Так полушутя, полусерьезно рассуждали на миру односельцы, обсуждая новые отношения попа к Елисею.

Однако, тревожное настроение Сукача нарастало. Время от времени сходился он с Григорием, и они обсуждали сообща свое положение.

Во многих селах, сообщал Григорий, есть много «братьев», которые «объявили» себя. Долго сначала таскали их, а потом — ничего, оставили в покое. Только собираться не дают. Елисей говорил, что «объявиться» придется. Григорий советовал подождать. Надо женам сначала объявиться; постараться их на свою сторону заполучить. Так и порешили с своими женами переговорить и их к делу приобщить.

Марья не знала, чему приписать такую внезапную перемену в поведении Елисея. Ее радости не было конца. Но она боялась обнаружить ее. Никогда раньше так горячо не молилась она по воскресеньям в церкви, как теперь, когда она видела охлаждение Елисея к попу и даже к церкви. Она была охвачена такой тихой и сияющей радостью, какой не испытывала с самых ранних дней их супружеской жизни.

Тем страшнее и неожиданнее был для нее удар, когда, в один прекрасный день, Елисей объяснил ей причины своего преображения... Сначала она не поняла всей глубины вытекающих отсюда последствий, если признать Рябошапку хорошим человеком. Но когда Елисей указал на неизбежные перспективы — отказа от хождения в церковь и удаления из избы образов, — Марью охватил неописуемый ужас. Не новой веры боялась она. Но она ясно представила ужас положения всей семьи, когда на селе узнают о переходе мужа в «штунду». Вместо ответа, Марья принялась горько плакать. На некоторое время в семье водворился настоящий ад. Слезы Марьи, однако, только возбуждали настойчивость и решительность Елисея. Вместе с тем он удвоил внимание и любовное отношение к своей жене и детям. В душе она проникалась к Елисею не только более сильной любовью и привязанностью, но и новым чувством глубокого уважения к нему. Раньше, когда он был предан обрядовому православию, когда он небрежно относился к семейному хозяйству и Марье самой приходилось заботиться обо всем, она невольно привыкла смотреть на мужа сверху вниз, как на человека, обладающего всеми видимыми слабостями... Его прежняя набожность в ее глазах, как и во мнении всех односельчан, была предосудительным преувеличением. Прощая его слабости или мирясь с ними, она прежде была твердо убеждена, что она права, а Елисей заблуждается.

Теперь положение изменилось. Он стал безупречным отцом, мужем и хозяином. Он снял с нее большое бремя всевозможных забот. В душе она была счастлива. И, однако, всякий раз, когда Елисей заводил речь о новой вере, об Иване Рябошапке, у ней появлялись слезы на глазах. Тогда — не раз это было — Елисей в волнении подходил к ней,

брал ее руками за голову и, глядя со слезами на глазах в ее глаза, спрашивал:

— Марья, неужели ты хочешь, чтобы я обратился к старому и жил попрежнему?

— Нет, Елисей, я рада... Только я боюсь, Елисей. На нас все нападут... Страшно!..

— А я не боюсь! Чего бояться? Мы не злодеи какие! Мы хотим только жить по настоящему, по-христиански. Ты боишься, что люди осуждать нас будут? Так ведь это по темноте... Я сам темным был... Мы не одни: Григорий с нами. А в других местах по селам есть много верующих. Говорят, хорошо, дружно живут и помогают друг другу... Чего ты боишься? Разве ты хуже стала теперь?..

Наконец, Марья стала успокаиваться, и на вопрос Елисея: —«Ну, как?.. все еще боишься?»..— молча улыбалась. В ней тоже неустанно работала мысль. Но не о сравнительном достоинстве той или иной веры. Нет, — она мысленно стала подготовлять себя к тому тяжелому моменту, когда разразится буря на селе, если Елисей «объявится».

Наконец, в одно прекрасное время, почувствовав, что она достаточно подготовилась, Марья сама заговорила с Елисеем, ибо она видела, что он все время сильно озабочен ее настроением, и часто не словами, а молча, одними взглядами, повторял один и тот же вопрос.

— Я теперь ничего не боюсь, Елисей. Делай как лучше. Я на все готова...

В глазах Елисея и самой Марьи эти простые слова явились символом крещения в новую, еще неведомую веру. Во всяком случае, с этих пор старое побледнело и как бы отошло в сторону.

После того они сообща обсуждали, как вести себя. Решено было попрежнему аккуратно ходить в церковь, пока настанет время «объявляться».

В первое же воскресенье Елисей, во время

обедни, сказал Григорию, чтобы тот после обеда пришел к нему.

— Слава Богу, Марья с нами... — добавил он.

Григорий пришел. Увидев улыбающуюся Марью, он подошел к ней и сильно потряс ее руку.

— Ну вот... Значит, нас трое теперь...

— Куда от вас денешься... продолжала улыбаться она: куда Елисей, туда и я.

— А как твоя Анна? — спрашивает Елисей: говорил ты с ней?..

— Говорил... Дура она, прости Господи!.. Я ей делом, в сурьез... А она на смех поднимает... Я спервоначалу закинул ей: «Вот, мол, про Рябошапку все зря говорят. Сам, говорю, слышал. Хороший человек! Послушать любо!»... А она мне на то: «Ты бы, говорит, вместо того, чтобы его глупости слушать, — за зад бы его пощупал! Всем, говорит, известно, что твой Рябошапка — бес, и, как водится, с хвостом».

— Ну, как с ней говорить будешь... Опять, я ей насчет попов. Не по правде, мол, живут, не по-божески. А она: «Тебе, говорит, наш поп не хорош... Ну, так вот тебя поставят, тогда лучше будет, меня попадьей сделают». Ну, как не скажешь: «дура она, дура и есть!»... Какая благодать, что хоть Марья с нами. Все-таки теперь нас трое. Помнишь, Рябошапка сказал, что где соберется двое или трое из верующих, там и церковь Христова.

Елисей и Григорий несколько раз ездили в то село, где слышали Рябошапку, и советовались с тамошними «братьями», как молиться, как жить, что делать. Никто положительного учения изложить не мог. Положительное заключалось в отрицательном: не ходить в православную церковь, не признавать обрядности, не молиться на образа. Во всем прочем — собираться вместе в собрания, читать евангелие, обсуждать сообща, как и чем помогать друг другу.

«Вера без дел — мертва есть», — говорит священное писание. «Вера в сердце и в руках, а не на языках», — говорил Рябошапка.

«Кто бы где ни жил, не теряйте друг друга, живите по-братски, поступайте во всем по-божески, любите друг друга, помогайте друг другу, будьте примером для других, и злые будут бессильны против вас». — Так учил Рябошапка.

Прошло месяца два или три в таком неопределенном положении. Религиозное протестантское настроение у всех трех наростало и все резче становилось вразрез с обычной православной обрядностью, от которой они еще не в силах были сразу отказаться. Елисей продолжал ходить в церковь, но отказался исполнять свои прежние обязанности и встал в положение простого прихожанина.

Негодованию священника не было конца, когда Елисей наотрез отказался ходить к попу на дом и помогать убирать скотину. Когда же Елисей отказался исполнять свои прежние церковные обязанности, поп ядовито при всех Елисея спросил: «Что, видно в штунду задумал перейти?»...

В действительности, ни односельцы, ни сам поп всерьез и подумать не могли, чтобы Елисей, богомол, в штунду перешел, с Рябошапкой спознался! Но чтобы больнее уколоть, поп не один раз Елисея «штундистом» называл. Все односельчане хорошо понимали, откуда взялась такая вражда у попа к Елисею; и все, как один, были на стороне Елисея. Чтобы посмеяться над попом, многие шутники стали величать Елисея «штундистом». Все эти невинные шутки нервировали, однако, всю местную «новую церковь», напоминая членам ее о двусмысленности их положения, о их «лицемерии»...

При таких обстоятельствах они узнали, что Иван Рябошапка приедет в то же соседнее большое село, где Елисей услышал его в первый раз. Когда

было выяснено время и день прибытия Рябошапки, вся местная «церковь» решила отправиться «соборне», то-есть взять с собой и Марью.

XII

ВТОРОЕ СВИДАНИЕ С РЯБОШАПКОЙ

День был базарный. Время осеннее. Довольно рано утром приехала вся наша «церковь». Собрание происходило в той же обширной избе одного из ревностных последователей новой веры. Но на этот раз она была более переполнена народом, так что многие стояли в сенях и слушали через открытую дверь. Позднее было решено устроить другое собрание, вечером. Наши паломники пришли на собрание в числе первых и расположились удобно внутри избы.

Марья шла на собрание и вступила в избу с благоговейным страхом. Она шла с благоговением, потому что думала, что идет в новую церковь молиться по новому. Но ею овладевал и страх, потому что она, при всем желании, не могла отделаться от представления о Рябошапке, как о бесовском соблазнителе и чародее, у которого назади имеется хвост.

Изба была давно переполнена народом, а Рябошапка все еще не приходил. Все ждали его появления с большим нетерпением. Особенно Марья. Как только отворялась дверь или кто-нибудь новый входил в избу, у ней замирало сердце и она закрывала глаза.

Наконец, послышалось: «Идет! идет!»... Все заволновались. Те, что раньше уселись прямо на полу, стали подниматься на ноги. У Марьи замерло сердце...

Наконец, из расступившейся в сенцах толпы,

вступил в избу Рябошапка, повторяя: «Здравствуйте, здравствуйте»... Вступив в избу, он остановился, отвесил три низких поклона и просил простить, что поздно пришел: «задержали»... Затем, пройдя к столу и обернувшись назад, он окинул собрание беглым взглядом и, среди мертвой тишины, веселым тоном проговорил:

— Ну, вот... и не звонили, а поди ты — сколько народу нашло...

Сразу все словно ожили: задвигались, закашляли, а один смельчак, в ответ Рябошапке, отшутился:

— Наш-то колокол позвонче церковного будет. Тут есть, которы верст за сорок услыхали, приехали...

Все повеселели. Вставшие при появлении Рябошапки вновь уселись на полу. Марья немножко пришла в себя, успокоилась и даже как-будто разочаровалась, когда Рябошапка сел. Какая же это церковь, коли люди сидят на полу?!.. — думала она. И в наружности Рябошапки ничего не было страшного: крупный рост, умное, но простое и приветливое лицо, зоркие глаза... Марья смутилась, когда Рябошапка, обводя присутствующих глазами, на момент остановил свой взор именно на ней. И окончательно растерялась, когда он обратился к ней с вопросом:

— А ты, сестра, в первый раз пришла?..

— Это жинка моя, — вступился Елисей: она впервые, а я уж раньше был...

— Это хорошо, продолжал Рябошапка. Пуще всего надо жен привлекать, чтобы лад и добрый мир в семье царил. В беде и радости жена первая помощница. Помните, что без женщин ни одно общество, никакая церковь стоять не могут. Кто, как ни мать, воспитывает, вскармливает и вспаивает

детей? А к тому же и жить тяжело, когда муж и жена по разному веруют.

— Бабы-то больше и дурят головы народу, вступился опять тот же шутник. Выдумали, что ты бес — соблазнитель, что у тебя хвост назади, вот и пугают друг друга. Не сговоришь с ними никак. Никто из них и в глаза не видал тебя, а божутся, что ты с хвостом... И смех и грех! Дуры, — и больше никаких!...

— Темнота!... — с некоторой горечью и подумавши сказал Рябошапка. — Но смущаться этим нельзя. Светом истины, правды и любви разгоняется людская темнота. Я сам и все мы, проснувшиеся к новой жизни, — еще недавно были такими же темными, как и большинство. Я сам долго считал истинных братьев во Христе опасными еретиками, смутьянами, чуть ли не бесами, пока не познакомился с ними и не познал их. Мне стыдно стало вспоминать свою прежнюю жизнь. Но теперь в общении с братьями во Христе я нашел душевный покой, радость и смысл жизни, — истинно христианской жизни! По слову евангельскому, человек рождается дважды: сначала телесно, а потом духовно. Одни прозревают раньше, другие позже, а многое множество людей умирает слепыми, не успевши прозреть. Все же, рожденные духом, все, кто почувствует Бога в сердце своем, кто возлюбит ближнего своего, как самого себя, — становятся подлинными членами великой семьи истинных братьев и сестер, разбросанных по всей земле, не только в нашей стране, но и в чужих странах. Братья и сестры во Христе, богатые и бедные, ученые и неученые, простые и знатные — все равны между собою и все должны помогать друг другу. Взаимная любовь и поддержка создают в каждом из них такую силу, которую никакие силы темные, никакие «врата адовы» не смогут одолеть. Когда знаешь, что имеется

много братьев и сестер во Христе, легче становится переносить всяческие невзгоды и гонения за истинную веру.

— Многие спрашивают: что делать, как жить и вести себя, чтобы приобщиться к новой вере, к истинной церкви Христовой? В писании сказано: «Не всякий говорящий: Господи, Господи, внидет в царствие небесное». Для этого нужно креститься не водой, а духом, нужно возродиться духовно — не наружно и напоказ, а внутренно, в сердце своем и в помышлениях своих, — не на словах, а на деле. В ложной, поповской вере все делается напоказ и по принуждению, вся вера основана на обрядах, на внешних отличиях среди верующих, на строгом чинопочитании и слепом повиновении. Истинная вера Христова не терпит обрядов, не терпит храмов с образами, иконостасами и алтарями, не терпит попов или священнослужителей с серебряными или позолоченными ризами. Ибо всякая внешность, всякая обрядность не укрепляет, а убивает веру, убивает религиозное чувство. Поэтому, нельзя быть одновременно и истинным христианином, истинным братом во Христе, и в то же время исполнять все обряды православной поповской веры, то есть продолжать лицемерить.

Здесь Рябошапка встал во весь рост и заговорил с волнением и особой торжественностью:

— Но, возлюбленные братья и сестры, умоляю вас, поймите меня хорошенько. Твердо верующему легко, даже часто радостно, переносить самые жестокие гонения от духовных и светских властей. Но тяжело, опасно и нежелательно объявляться перед миром и властями преждевременно, пока не созрело желание и готовность пострадать за веру свою, за благополучие и спокойствие сестер и братьев своих во Христе. Слабый человек, преждевременно объявивший себя перед миром, при пер-

вом нажиме властей может покаяться, раскаяться и пожалеть о содеянном. За свои невзгоды и преследования он может винить не преследователей, а самых искренних и глубоко верующих сестер и братьев во Христе. Такой слабостью можно внести только лишние страдания в среду верующих, и страх и предубеждение среди темных мирян. Человек, страха ради отступающий от веры своей, теряет самого себя, душу свою — навсегда. Между тем верующие должны любить друг друга, помогать друг другу, сильные духом должны поддерживать слабых, заботиться о них, ибо они братья и сестры во Христе.

— Не думайте, продолжал Рябошапка, что сильные духом верующие бывают только люди грамотные, начитанные и ученые. Самые первые последователи учения Христа были апостолы, простые рыбаки и неграмотные люди. Люди познаются не по чину, не по внешности, а по их поведению. Вера без дел мертва есть, говорит св. писание. Пусть, по слову Христа, последние из вас будут первыми, ибо часто первые становятся последними. Самая величайшая из заповедей Христа есть любовь, любовь к Богу и к своим ближним. А кто может быть нам ближе, чем братья и сестры во Христе? Люди познаются по делам. Будьте же христианами, братьями и сестрами не на словах, а на делах. Вот вы разъедетесь по домам, — не теряйте друг друга, сходитесь и съезжайтесь почаще, советуйтесь, как лучше жить, как лучше беду избыть, как и кому общими силами помочь. В единении вся сила. А всего сильнее скрепляет и объединяет людей чувство любви и братства, — забота друг о друге. Сила в единении, а единение зависит от вас самих. Будьте же сильны духом, и врата адовы не одолеют вас. Пуще всего — лаской, а не суровостью, старайтесь приобщить к истинной вере Христовой своих жен,

сестер и матерей. Любовью и добрым поведением вы лучше всего завоюете их сердца.

— . —

Долго говорил в таком тоне Рябошапка, не входя в объяснения с отдельными лицами. Общее собрание было кончено, но всем было частно сказано, что желающие поговорить и посоветоваться с Рябошапкой отдельно, могут повидать его в указанном месте после обеда, вечером и ночью.

Вся наша «церковь» решила соборне еще раз повидать Рябошапку, рассказать ему их положение и попросить его совета: объявляться ли? когда? и каким образом лучше, достойнее сделать это?

Рябошапка их долго расспрашивал. Сначала сам Елисей рассказывал о самом себе со всеми подробностями. Потом начал говорить о Марье, о своей жене. Но Рябошапка остановил его и стал расспрашивать ее самое. Он делал это с таким тактом, так просто и так сердечно, все время называя ее «сестрой», что Марья перестала смущаться и стала рассказывать о себе и о муже, как «на духу», как на исповеди. Она откровенно сказала, что не понимает, зачем надо объявляться? зачем образа из избы выносить? пусть себе молятся, кто хочет, а самим можно и в церковь не ходить...

Всякую мелочь приходилось с ней обсуждать, ей разъяснять.

— Многое можно скрыть от людей, а от Бога ничего скрыть нельзя. От Бога и от своей совести никуда не убежишь, — объяснял Рябошапка. А отказ от церкви и от исполнения обрядности, — все равно равносильно «объявлению». Лучше самим подготовиться и подготовить сельчан к формальному объявлению.

Насчет жены Григория, — Рябошапка советовал самой Марье постепенно подготовить ее, и ближе

сойтись с ней. «Не нужно сердиться на нее: большинство бед от темноты идет»... «Поезжайте, с Богом, закончил Рябошапка, — и сами ищите опоры в других братьях. Познакомьтесь здесь с теми, кто ближе к вам живет, сговоритесь. Во многих местах теперь есть хорошие и толковые люди. В случае нужды, обращайтесь за советом к хозяину сборной избы, где было утреннее собрание. Он верующий брат, человек надежный, практичный и знает всех братьев в своем округе».

— . —

Попрощавшись с Рябошапкой, наша «церковь», по совету его, отправилась в «сборную избу», чтобы повидать хозяина ее и посоветоваться с ним. Изба оказалась полна народом. Здесь сошлись «объявившиеся» и колеблющиеся новички. Центром собрания был опытный хозяин избы. Здесь обсуждались и решались вопросы практические, самые жгучие, которые волновали и наших странников: объявляться ли? когда? и как? Здесь открыто все рассказывали друг другу самые сокровенные мысли и даже грехи. Некоторые в религиозном умилении плакали и просили прощения.

Марья не может забыть этого собрания. Оно подействовало на нее больше и решительнее, чем слова и поучения Рябошапки. Она была тронута и польщена всеобщим и особенным вниманием к ней со стороны присутствующих крестьян. Видно было, что «женский вопрос» был жгучим вопросом в среде сторонников новой веры. На вопрос одного крестьянина: не боится ли она? — Марья с твердостью ответила:

— Прежде страшно боялась, плакала. А теперь ничего, не боюсь! Чего бояться? Куда Елисей, туда и я. Теперь и на душе легко. Вижу, что за правду и пострадать не грех.

Эти слова так умилили всех, что все присутствующие крестьяне подходили к ней и горячо жали руки ей. А один до того умилился, что расплакался, гладил Марьину руку и только повторял:

— Ах, кабы все такие жены, как ты!... Ах, кабы такие!... Спасибо, спасибо тебе...

И Марья и все присутствующие хорошо понимали охватившее всех чувство умиления. Она вспомнила, сколько она выстрадала, прежде чем приехать сюда. Очевидно было, что многие из присутствующих пережили опыт Григория с его легкомысленной женой.

Марья сама умилилась: она вдруг почувствовала в себе какую-то бодрость, решимость и отвагу. Она ничего не понимала в новой вере по книжному, но чувствовала, что переродилась и готова была на все... Она тут же решила сама с собой, что «объявиться» непременно придется. И нужно «объявиться»...

Лишь поздно ночью кончилось совещание, и наша «церковь» ночью же тронулась обратно в путь.

XIII

ПЕРЕД «ОБЪЯВЛЕНИЕМ»

Домой вернулись в приподнятом настроении, и еще дорогой сообща порешили, что «объявиться» придется. Но как это сделать, — никто из них ясно не представлял.

Вскоре увидели, что это не так легко сделать, что препятствия для этого возникают не только внешние, но и внутрение, психологические. Увидели, что всем им приходилось бороться с собой, с установившимися привычками и настроениями. Не пойти в церковь в праздничный день, когда стар и млад к обедне идут, — как-то нехорошо, скучно и тоскливо

дома сидеть. А чем заменить церковь? Никому из семьи в церковь не пойти? — без причины тоже неудобно. А на селе, как в большой семье, никаких секретов удержать нельзя. Горе и радость в каждой семье, ссора между мужем и женой, несчастный случай со скотиной — пропажа теленка, курицы или цыпленка, унесенного коршуном, — становятся тотчас же известны всему селу. Как, при таких условиях, скрыть новое душевное настроение, новый уклад жизни?

Думали сначала — ребят в церковь посылать, а самим дома оставаться. Так уж водится: из каждой семьи кто-нибудь да должен быть в церкви, хоть малый ребенок. Присутствие в церкви мальчика или девочки без родителей всем говорит, что родители заняты, но они позаботились: одели и снарядили детей в церковь по праздничному.

Прежде об этом ни речи, ни мысли даже в голову не приходило, а теперь Марья поняла, что так можно некоторое время о б м а н ы в а т ь односельчан. В одно из воскресений они так и сделали: детей снарядили в церковь, а сами остались дома. Но это случилось только раз; после того они раз навсегда закаялись это делать. Марья всю жизнь не могла забыть этот случай.

— Отправили мы ребят, — рассказывала Марья, — а сами остались вдвоем. Что делать? Печка протоплена. Пироги из нее вынуты. К обеду тоже все приготовлено. Прежде в таких случаях — зажжешь восковую свечку, поставишь на образницу, помолишься дома и чувствуешь — словно в церкви побывала... Говорю Елисею: «Не зажечь ли свечку?» А он, вижу, грустный такой, и говорит в ответ:

— Нет, Марья... Нехорошо мы сделали: ребят послали, а сами остались... Ведь, это о б м а н!... Грех!.. Как ты думаешь?.. Долго мы так обманом жить будем?... Уж не лучше ли объявиться скорей?

Коли свечку зажигать, зачем было ребят посылать? Было бы в церковь самим итти: там и свечей больше. И опять же: если в церковь ходить — нехорошо, не следует, так зачем мы детей к нехорошему приучаем? Нехорошо это... грех, Марья!

Решили — пока что — в церковь ходить, от детей не отделяться.

Возникла и другая тревога, в пределах своего дома, среди семьи. Пробовал Елисей садиться за стол, не молившись Богу, по обычаю. Старший мальчик заметил это и сказал отцу, с детской наивностью:

— Тятя, ты уж другой раз не крестишься...

Чтобы не смущать детей и не входить с ними в преждевременные объяснения, решено было молиться и дома, садясь за стол.

Так одно за другим, по мелочам, все больше и больше накоплялся душевный разлад, который только побуждал Елисея еще настоятельнее приступить к «объявлению». Односельчане не могли не видеть резкой перемены в характере и поведении Елисея, но долгое время они допустить не могли, чтобы Елисей в штунду перешел!.. Но об Григорие давно уже слухи ходили, что он со штундистами водится и с самим Рябошапкой знаком. Сама жена его, Анна, про него этот слух пускала. По своему легкомыслию она не придавала никакого значения словам Григория, когда он пускался хвалить «новую веру» и проповедника ее — Рябошапку. С другой стороны, и сельчане не придавали значения переходу Григория в штунду, если бы таковой переход оказался верным. Сама Анна, по сердцам и в шутку, часто называла мужа «штундистом». Вслед за попом и односельчане в шутку называли и Елисея «штундистом»: но ни тому, ни другому, кроме попа, никто не придавал серьезного значения.

Первые подозрения против Елисея родились

среди баб. Они первые заметили необыкновенную дружбу Елисея с Григорием. Та же жена Григория, Анна, шутя, высказала подозрение:

— Люди в кабак или в церковь, а мой Григорий все к Сукачу, все к Сукачу. Должно быть по-новому молятся. Не знай только, кто из них за попа...

Она шутила, конечно, но новая церковь соборне решила такие шутки Анны остановить, прекратить. Эту миссию возложили на Марью.

После тщательного обсуждения, сообща с Григорием, Марья выбрала удобное время и пришла поговорить наедине с Анной. Она прямо объявила ей, что это сущая правда: и Елисей и Григорий в новую веру, в штунду перешли!...

— Тяжело им будет, говорила Марья: и поп, и все на них накинутся. А за них и заступиться некому. Тяжело и нам с тобой будет. Я знаю, что ты любишь Григория. Он хороший человек! И как не любить его?.. Объявиться хотят! Кто знает, что будет, а только ты знаешь сама, что это значит и для них, и для нас с тобой... Не злодейство какое!.. По новому молиться хотят! Разве мало вер на свете?.. А ты знаешь, какой у нас народ: сами, без попа и начальства, со свету сживут...

— Ты меня прости, Аннушка, что я тебе сообщаю об этом. По себе знаю, как тяжело это слышать в первый раз. Родная моя, ты не поверишь — сколько я слез пролила, как впервые узнала... Сколько бессоных ночей провела... Все надеялась: авось, раздумают... А ты, ведь, знаешь Елисея: коли он чего задумал, — переломить его трудно. И рада я, Аннушка. Ты знаешь, какой он был. Теперь — словно молодость вернулась. В случае чего... Кто его пожалеет? Я теперь одумалась и успокоилась, Аннушка. Богом мы навек спаяны: куда Елисей, туда и я! Твой Григорий часто приходит к нам, — убивается; думает, что ты смеешься над ним, и в

случае чего... бросишь его. Я знаю, что не так. Я знаю, что ты любишь его и не бросишь его! Они решили оба «объявиться»... А я решила предупредить тебя. Надо подготовиться. Кто знает, что будет? Вместе, сообща с тобой, нам легче будет всякую беду встретить.

В таком тоне любящей сестры Марья познакомила Анну с действительным положением дел и с надвигающейся опасностью. Сначала Анна слушала с недоверием, но по мере того, как она убеждалась, что Марья говорит правду, ее тоже стал охватывать ужас. Она не меньше Марьи понимала последствия объявления. И Марья не ошиблась: Анна, при всей своей легкомысленности, любила своего мужа, и перед ней впервые встала перспектива — потерять его.

— Что она станет делать, если все набросятся на мужа, как набросилась когда-то она на него? Для нее больше не было двух ответов: она выцарапает глаза первому соседу или соседке, если они попробуют оскорбить мужа! Но затем, когда Марья указала ей на другую, более грозную опасность, — на гонение со стороны попа и властей, — Анна замерла и дрожащими руками крепко уцепилась за руки Марьи, неподвижно и молча слушая ее речь до конца. Ласковый голос Марьи так растрогал Анну, что она расплакалась, растерянно повторяя: «Что же делать? что делать?»

— Приходи к нам в свободное время, — сказала, уходя, Марья, — вместе поплачем. Не тужи!.. Бог даст — все хорошо кончится!.. А Григория пожалей! Ему и без того тяжело... Непременно объявятся!.. Ждут только удобного случая. Ты пока молчи; зря об этом никому не говори. Знаешь бабьи языки: ничего еще не видя, и невесть что наболтают, из мухи слона сделают... Без шуток,

родная, говорю: заходи — когда — поплакать, сердце облегчить...

— Спасибо, Марьюшка. Как не прийти, конечно приду!... У меня голова кругом идет... Ничего не разберу... Что делать — не знаю.

XIV

«ОБЪЯВЛЕНИЕ»

Так прошло еще недели две-три. Анна то и дело бегала к Марье, то поплакать, чтобы никто не видал, то посоветоваться и узнать, что нового. С Григорием она помирилась вскоре, и ее стали приглашать на общий совет. Так мало-по-малу она втянулась в общее дело и стала привыкать к мысли о неизбежности катастрофы.

Бабы на селе тотчас же заметили перемену в настроении вечно веселой Анны. Сначала думали: больна чем-нибудь. Но от них не укрылись ее частые хождения к Марье, в одиночку и с мужем. Бабы заподозрили, что тут что-то не спроста. Стали Анну выспрашивать: чем больна? Не лечит ли Марья ее? Если нет, так можно старуху найти... А может и впрямь Григорий с Елисеем в штунду думают перейти?..

Анна горячо негодовала: «Типун вам на язык!»... — отвечала она и обрывала разговор.

Анна сказала об этом мужу и Марье. Обсуждали сообща: что дальше делать? что отвечать, когда бабы будут приставать с расспросами? Анна больше всех боялась пересуд и опросов баб. Она то и дело бегала к Марье — горе разогнать и посоветоваться. Общим ходом дел руководил Елисей. Ясно было, что долго в мешке шила не утаишь. Шопотом, но по всему селу слух пошел, что Елисей с Григорием в штунду думают переходить. Все это те же бабы

по секрету сообщали и Анне, ругая на чем свет стоит «долгоязычных сплетниц»...

В генеральном совете было, наконец, решено — подождать еще несколько дней: Елисей решил съездить в знакомое село, посоветоваться с хозяином сборной избы и на случай, заранее, предупредить его. По возвращении Елисея решили тотчас же «объявиться».

Настал тяжелый момент. Анна места себе не могла найти. По несколько раз на дню к Марье бегала. Марья тоже нервничать начала: на распросы баб резко отвечала:

— Вижу, — говорила она, — вам языки почесать хочется, вот вы и штунду выдумываете.

Однако, бабы не унимались: их трудно было провести. Почему Анна то и дело к Марье бегает? Елисей от попа отстал, — это он хорошо делает. Но почему он редко в церковь стал ходить?.. И Марью в прошлое воскресенье не пустил...

К Марье стали приходить, справляться, ее родные и родные Елисея: правда ли что на селе болтают, будто Елисей хочет в штунду перейти? Марья, впредь до поездки Елисея в знакомое село, сначала отрицала, потом, когда стали приходить бабы с разных концов улицы и с сокрушенным видом задавали ей те же вопросы, она стала серчать и отвечать: «Я почем знаю!.. Спросите их!..» И, наконец, когда стали ее спрашивать о том же в присутствии пришедшей к ней Анны, Марья окончательно вышла из себя и сердито отрезала:

— Да вам что за дело?.. Ну, может быть, и хотят! Может быть, давно уж и перешли в новую веру... Ну, что же из того?!.. Мало ли вер на свете и в нашей земле!... Каждый по-своему Богу молится...

Правда, ответ Марьи был дипломатический, не совсем определенный, но этого было достаточно, чтобы стоном застонало все село:

— Григорий и Елисей — в штунду перешли!..

Женам, конечно, никто не придавал значения.

Стали приходить уже не к Марье, а к Елисею, родственники, знакомые, соседи-доброжелатели; стали уговаривать — не срамить себя и добрых людей...

Елисей, осаждаемый со всех сторон уже не вопросами, а упреками, с твердостью фанатика вдруг проникся чувством жертвенного настроения, и, хотя преждевременно, не успев съездить в знакомое село — предупредить единомышленников, решил тотчас же «объявиться». Он решительно заявил, что он, да и все односельцы, жили до сих пор не по-божески, не по-христиански, что поклонялись не истинному Богу, а идолам...

С быстротою ветра тревожная весть разнеслась по всему селу: Елисей с Григорием «объявились!»..

Весть дошла до попа. Поп призвал к себе Григория и Елисея, увещевал их, грозил земными и небесными карами. Но все было напрасно. Ничто не помогало. Напротив, их упорство и «дерзость» только возросли: они решили итти дальше, и вынесли иконы из хаты...

— Ага!.. Это уж не ересь!.. Это озорство! Это уж кощунство! Это уж преступление и бунт!.. — говорил поп.

Он вызвал старшину из волости, и, по его настоянию, Елисея с Григорием арестовали и посадили при волости в кутузку.

И поп и старшина сообщили, каждый своему начальству, о происшествии и аресте, и ждали распоряжения свыше. Никакого ответа не было, и арестованные продолжали сидеть в кутузке. Время было праздничное, — святки, после Рождества. Поп не давал прихожанам покою, возбуждая их своими речами и проповедями против «злочестивых еретиков».

— Недаром, говорил он, и хлеба не родятся

и летом дождей было мало, когда такие еретики живут среди нас безнаказанно. Два раза прошлым летом иконы поднимали, два раза все поля исходили, а Господь Бог не послал дождя! Понятно теперь, почему Господь прогневался, — почему народ бедствует!..

Такие проповеди попа доводили крестьян до крайнего возбуждения. В этот год, действительно, все общество страдало от неурожая, а скотина от бескормицы.

И развязка не заставила себя долго ждать.

На Крещенье, 6 января, народ и церковный причт, с иконами, по обыкновению, последовали на речку, на водосвятие к приготовленной проруби. Когда священник освятил воду в проруби, он произнес возбуждающую речь, напоминая народу, что вот теперь, когда православный народ молится, «еретики и богоотступники» сидят себе и насмехаются над Господом... Хорошо было бы крестить их в проруби, изгнать из них беса и тем спасти их души...

И вот, — некоторые из толпы крестьяне бегут в кутузку, приводят «еретиков» к проруби без шапок и каждого из них до трех раз, в одежде, сняв только верхние кафтаны, погружают с головой...

Когда окунули Елисея в первый раз и вытащили на лед, поп, как и при настоящем крещении, спрашивает его: «Отрицаешеся ли сатаны?». Елисей, стуча от холода зубами, громко отвечал:

— Прости им, Господи... Не знают, что творят...

Поп, в негодовании, велел погрузить Елисея во второй и в третий раз. Тот же вопрос, и тот же ответ...

Тогда, подняв крест к небу, возмущенный поп торжественно воскликнул: — «Окаянный!.. Будь ты проклят, нераскаянный еретик!»...

Здесь произошло поистине странное явление...

Это непоколебимое мужество и смирение Елисея, достойное мучеников первых веков христианства, в сопоставлении с облаченным в блестящую ризу попом и торжественно вознесенным к небу крестом, — так озлобило толпу, что она, побуждаемая восклицаниями священника, оставила иконы и реку и бросилась к домам «еретиков»...

Произошла дикая, невероятная сцена: толпа готова была разнести по бревнышку хаты «еретиков». Она разбила все окна, сорвала двери с петель, повалила плетни и заборы, сорвала соломенные крыши в хатах и даже срубила под корень «вишневый садочек» при хате Елисея!...

Семьи «еретиков» приютились у родственников.

Как менее виновного, Григория выпустили из кутузки. Не зная, где искать защиты, он отправился в «стан», к становому приставу с жалобой.

Становой тотчас же приехал, чтобы произвести дознание. И даже он возмутился, слушая оправдания попа и видя вандальское разрушение. Он тотчас же приказал освободить Елисея, составил акт, благоприятный потерпевшим, и передал его судебному следователю для производства формального следствия.

XV

ПРАВОСУДИЕ

Испугался поп, испугались крестьяне, и так как интересы их были общими, то на сходе, по совету попа, сговорились показывать следующее:

Согласно русскому обычаю, прихожане, действительно, выкупали еретиков в крещенской проруби, но после этого они стали при всем народе поносить всячески Божью Матерь и всех святых угодников и стали надругаться над иконами... А потому, действительно, прихожане пришли в страшное не-

годование... и действительно, сгоряча, разбили их дома...

Таким образом, на следствии дело было представлено в извращенном свете: поп и все общество показали заодно. А потому, следователь, устранив обвинение попа и крестьян, направил дело в смысле обвинения Елисея Сукача с единомышленником в отступлении от православия, в надругательстве над святыми иконами и в кощунстве.

Обвинение это имело вид правдоподобия, ибо Елисей и Григорий продолжали твердо исповедывать перед следователем свою новую веру. Со смирением, но твердо отрицали они все таинства, посты и обряды православия.

Обвиняемые были уже формально снова арестованы, и на этот раз отправлены в киевскую тюрьму.

Долго тянулось следствие; но, наконец, настал и суд. На суде — те-же показания священника и прихожан, только вместо виновного попа фигурировал другой священник, — приемник и родственник виновника всего происшедшего. Подсудимые и на суде упорно исповедывали новую веру и отрицали все обряды православной церкви. В канонические споры они не вступали, и на все такого рода вопросы отвечали только, что они хотят жить истинно по-христиански, как учили Христос и апостолы.

Суд приговорил: Елисея Сукача — к лишению всех прав и ссылке в отдаленные места Сибири, а его товарища на полтора или на два года в арестантские роты — тоже с лишением прав.

И вот, Марья, жена Елисея, с своими двумя детьми последовала за мужем в Восточную Сибирь и вместе с ним целый год мужественно переносила все ужасы сибирского этапного пути, который отрывочно, но так блестяще описал Джордж Кеннан в своем сочинении: «Сибирь и ссылка».

После бесчисленных испытаний они достигли,

наконец, Забайкальской области и были водворены на поселение в селе Татаурове, где я и встретился с ними через 8 или 9 лет после вышеописанных событий.

Согласно манифесту, Елисей мог бы раньше приписаться к местному крестьянскому обществу и таким образом получить некоторые права, но он все откладывал приписку, мечтая возвратиться в свою родную Украину.

Поводом к таким надеждам послужили следующие обстоятельства.

Год или два после его водворения в селе Татаурове он получает письмо с родины, от старухи-матери и от десятка два или три бывших его однообщественников.

Письмо это, как упомянуто раньше, даже меня, человека постороннего, поразило своей трогательной простотой и трагизмом описанного положения. Можно себе представить, какое впечатление оно должно было произвести на Елисея Сукача, в момент его получения...

К счастью, у меня сохранились выписки наиболее интересных мест. Я тогда же подробно записывал многократные сообщения Елисея и особенно Марьи, которая готова была рассказывать тысячи раз историю своей жизни с мельчайшими подробностями, и почти всегда — со слезами на глазах. К счастью, я сейчас нашел выписки наиболее интересных мест этого письма. К письму матери было приложено письмо, написанное вполне грамотно, которое начиналось словами:

«Возлюбленный страдалец, истинный брат наш во Христе, Елисей.

«Прости ты нас, окаянных, клятвопреступников и гонителей.

«Воистину ты прав был, когда мы надругались над твоими страданиями, а ты, помня в этот страш-

ный миг слова Господа нашего Иисуса Христа, трижды воскликнул: «Прости им, Господи, не знают, что творят».

«Мы же, недостойные, вместо того, чтобы пасть на колени перед мучеником, сделали неслыханное поношение всему дому твоему и, как Иуда предал Христа, мы нарушили клятву на суде, лжесвидетельствовали против тебя, осудили, ввергли в темницу и сослали в Сибирь. Мы это сделали».

Далее идет целый ряд имен однообщественников, как «виновников», так и сочувствующих.

После того Елисей стал получать все чаще и чаще письма с родины и даже из соседних сел и уездов киевской губернии. С каждым новым письмом число раскаивающихся все прибывало и прибывало. Это означало, что учение Рябошапки пустило корни и распространилось.

Нетрудно себе представить, как глубоко радовали эти письма Елисея и его жену.

Далее происходит следующее:

В 1880 году, после взрыва в Зимнем дворце (7 февраля), произведенного Халтуриным, государь и придворные временно растерялись... Александр II, занятый семейными отношениями к своей морганатической жене, княгине Юрьевской-Долгоруковой, призвал к себе армянскую хитрую лисицу, графа Лорис-Меликова, и поставил его диктатором всея Руси.

Здесь не место излагать двойственную политику Лорис-Меликова. Укажу лишь мимоходом на то, что в то время, как он внушал в обществе надежды на установление либерального, правового порядка, положение ссыльных и особенно политических каторжан чрезвычайно ухудшилось.

Одной из его положительных мер было назначение сенаторской ревизии, с чрезвычайными полномочиями, по главным областям России. В киев-

ское и харьковское генерал-губернаторство был назначен ревизором сенатор Половцев.

Во время производства этой ревизии, штундисты двух уездов, с односельцами Елисея Сукача во главе, подали Половцеву прошение о возвращении Сукача из Сибири, как несправедливо осужденного. Виновные изложили ревизору откровенно свое преступное поведение на суде, сознались в клятвопреступлении и просили их сослать в Сибирь, а Елисея возвратить. Половцев не мог не обратить на это дело должного внимания, и обещал крестьянам немедленно дать ход их прошению.

Одновременно с этим, крестьяне извещают Елисея о содеянном и просят его написать немедленно прошение министру юстиции о пересмотре его дела и о возвращении на родину. Так советовал сделать, писали они, — сам сенатор Половцев.

Прошение Сукач подал. Проходит некоторое время, и от министра внутренних дел в забайкальское областное правление получается приказ: отобрать отзывы о поведении ссыльно-поселенца Елисея Сукача — 1) от крестьян того селения, где проживает теперь Сукач, и 2) — от местного священника.

Крестьяне села Татаурова составили самый лестный приговор о поведении Елисея. Местный священник призывал несколько раз Елисея, убеждая его отказаться от своих «заблуждений», чтобы он мог послать и от себя хороший о нем отзыв, но Елисей упорно стоял на своем и отказывался признать православие и какую бы то ни было обрядность.

При бесчисленных инстанциях, при громадных пространствах Сибири и матушки России вообще, при небрежности русского чиновничества вообще и сибирского в частности, — дело затянулось на годы... А при том же разразилось 1 марта 1881 года. Наступила мрачная реакция. Лорис-Меликов за свой

либерализм был выслан заграницу. (Нервно развинченный и физически ослабленный, Лорис-Меликов поселился сначала в Швейцарии на Женевском озере, в городе Веве, где пользовался советами известного русского врача и демократа Ник. Андреевича Белоголового. Через Белоголового мы и получили рукопись, которая была потом напечатана Фондом вольной русской прессы в Лондоне под названием: «Конституция графа Лорис-Меликова»). Направление внутренней политики в России попало в руки К. П. Победоносцева и графа Д. А. Толстого. Всякие сенаторские ревизии были сданы в архив, и дело Сукача потонуло...

Только уж при мне, в 1886 г., Сукач получил от министерства юстиции лаконический ответ, что его просьба о пересмотре дела «удовлетворению не подлежит»...

Да и могла ли быть речь о возвращении Сукача теперь, когда реакция с бешенством набросилась на штундизм, который рос не по дням, а по часам, и грозил заразить весь юг России. Собираются два съезда митрополитов и миссионеров для обсуждения мер борьбы с ересью, и в особенности против штундизма. На всем юге, по всей Малороссии, открываются страшные гонения на штундистов. Политический гнет увеличивает народное недовольство. Чтобы отвлечь внимание народной массы от истинных виновников недовольства, эксплуатации и гнета, правительство через полицию организует черные сотни и систематически начинает устраивать еврейские погромы. Положение народа все ухудшалось, и естественно он стал искать новых путей к улучшению своего положения. И вот в результате его исканий лучшей жизни и явилось чрезвычайно быстрое распространение штундизма по всему югу России.

Крестьянство стало переходить в штунду даже

не вследствие религиозных влечений, а вследствие наглядного примера, что штундисты пользуются высшим уровнем экономического благосостояния. Ибо они живут дружно, усердно помогают друг другу и хлебом, и трудом, и на дому, и в поле.

При таких условиях, воздействие невежественных попов и миссионеров оказалось не достаточным, и правительство дало им в подкрепление полицейскую палку. На всем юге России на штундистов начинаются гонения, далеко превышающие гонения на евреев. Евреи свободно отправляли свое богослужение в своих синагогах. Штундистам запрещалось собираться в своих домах — читать евангелие и петь духовные песни.

Наказывать тюрьмой и ссылкой в Сибирь за отступление от православия не было уже никакой возможности, ибо пришлось бы высылать и наказывать целые сотни тысяч, быть может, — миллионы крестьян. А потому полуофициально было допущено: не прекращая полицейского давления, завести при волостных правлениях особые книги для записи о рождениях, браках и смерти тех сектантов, которые упорно отказываются от общения с православным духовенством и церковью. Судили и ссылали в Сибирь и даже на каторгу только выдающихся пропагандистов «ереси».

Урядникам и местной крестьянской администрации строго-настрого было приказано — следить, чтобы сектанты не собирались в дома для общей молитвы, чтобы не пели громко духовных песен. При ослушании же — разгонять палками...

При таких условиях, в 1886 году, Елисей получает от своих «братьев во Христе» отчаянное письмо о гонениях на их веру со стороны попов, властей и особенно со стороны мелкой местной полиции.

«Многие, писали они, стали колебаться в вере:

из страха перед постоянными притеснениями стали опять наружно исполнять церковные обряды. С твердых в вере попы и чиновники берут непосильные дани, разоряют в конец. Если бы не наша взаимная братская помощь, многие действительно разорились бы совсем. Только наша вера не позволяет пускать братьев по-миру. Земли мало; земли дорожают, а переселяться не дают. Боимся, что совсем наша вера ослабеет»... «Ждем от тебя и от брата Егора подробных наставлений, что делать, как жить. Мы переписываем твои письма и рассылаем братьям в других местах».

Под «братом Егором» скрывался я. Для объяснения следует сказать, что со времени нашего знакомства, обыкновенно я писал все письма на родину Елисея в ответ на письма матери и «братьев во Христе». Вместо груды поклонов, которыми прежде наполняли письма полуграмотные дети Елисея, Тимофей и Самсон, я стал наполнять их благочестивыми рассуждениями на разные житейские и религиозные темы. Сам Елисей умилялся до слез, слушая их. В одном из писем с родины, «братья во Христе» спрашивали Елисея: «Кто пишет тебе письма к нам. Наверно — тоже «истинный брат во Христе», и прибавляли: «Пусть чаще пишет и наставляет нас».

Я тогда же сказал Елисею, что писать мою фамилию, объяснять, что я политический, для самих «братьев» неудобно. И в следующем письме на этот вопрос я ответил, что пишет тоже ссыльный, надежный человек.

Между тем, после оказалось, что к написанному мною письму Елисей велел детям от себя прибавить какую-то рекомендацию насчет моей персоны, каковая рекомендация осталась для меня навсегда скрытой. Надо думать, что отзыв был очень лестный, ибо с тех пор во всех письмах стали появляться

поклоны «брату Егору». После того я стал писать письма особенно осторожно и особенно обдуманно, ибо письма эти шли в массу, находящуюся на распутьи и в тяжелом положении.

Последние письма с тревожными сообщениями об усиленных гонениях на «братьев» несказанно огорчали Елисея. Я сам проникся чувством жалости к их тяжелому, почти безвыходному положению, и задумал написать нечто вроде «послания апостольского»...

Я так и сделал. Я написал целую тетрадь. Я ободрял, утешал «братьев». Указывал на пример первых христиан, которых вначале была малая горсточка, но которые, несмотря на страшные гонения, покорили весь свет. Взаимной любовью и самоотверженной заботой друг о друге истинные христиане создавали вселенскую церковь. Я советовал братьям организоваться самим и организовать правильную помощь одноверцам в других волостях, уездах и даже губерниях. Короче сказать, я призывал всех к деятельной любви и самопомощи, к помощи не деньгами, а трудом. Я подкреплял свои положения текстами из евангелия. Первые христиане отказывались от имущества, дабы всецело посвятить себя на служение Богу и своим ближним. В настоящее время истинные христиане рассыпаны по всей земле и считаются миллионами. Они должны сноситься друг с другом, словом и делом помогать друг другу, памятуя, что «вера без дел мертва есть»...

Слушая «послание», Елисей плакал от умиления. Но не довольствуясь отзывом Елисея, я отправился в Читу и прочел «послание» в собрании товарищей. Все его одобрили, и оно без всяких поправок было мной отослано по адресу одного штундиста на родину Елисея. В этом послании не было ни слова упомянуто про Елисея Сукача. По-

слание было подписано, — помнится: «Истинный брат во Христе». Без имени.

Послание дошло благополучно по назначению... Восторгам, умилению и благодарностям не было конца. По получении отписали, что теперь знают, кто этот «истинный брат во Христе». Они сообщили, что послание переписывается и отсылается в разные места. Просят «брата и наставника» — не покидать их, чаще писать, поучать.

Боже, Боже!... Вспоминая теперь, не верится! Какие благодатные были времена!... Ни жандармы, ни революционеры никакой конспирации не признавали... «Толстеющая» тетрадь, простым, незаказным пакетом благополучно дошла!.. Истинные же братья во Христе в ответном письме таинственно спрашивают Елисея: не может ли «брат наставник» бежать из ссылки и приехать к ним, наставлять, как жить и как веровать? Они заверяют, что приезжий брат будет в полной безопасности, что они будут хранить его пуще глаза...

Так продолжалась переписка, под моей редакцией, формально между Елисеем и его матерью, но адресованная неизменно на имя почтенного местного крестьянина, убежденного штундиста, из бывших фельдфебелей, имя которого, к сожалению, я тоже забыл. С ним мы сидели потом одновременно в киевской тюрьме, хотя мне так и не удалось познакомиться с ним лично. Но об этом — скажу дальше.

— · —

После того проходит целый год. В 1887 году, 8 июля, истекал срок моей ссылки, и я собирался возвратиться в Россию. Месяца за два до моего отъезда Елисей сообщил мне свои треволнения относительно своего старшего сына, Тимофея, которому минуло 19 лет, и которого пора была женить. Но женить на местной девушке представляло много

затруднений: Елисей не желал бы совершать брака по церковному обряду... Можно бы найти девушку, готовую совершить брак «гражданский», ибо прочное внебрачное сожительство в Сибири очень распространено, но эти девушки Тимофею не нравились, а те, которые нравились, принадлежали к семьям, преданным обрядовому православию.

При таких условиях, Тимофей, не желавший итти против верований и желаний своего отца, которого он любил и уважал, — обратился к отцу и матери с просьбой — отпустить его на родину, к своим «братьям» повидать бабушку, передать привет своим единоверцам и, если судьбе угодно будет, — привести назад к родителям их нареченную дочь, т. е. свою жену.

Думали, думали старики и решили, что они не в праве насиловать его волю. При моем содействии выправили они ему трех-годовой паспорт в областном правлении, благословили и проводили, дав ему на дорогу 10 рублей.

Решение их меня очень тронуло. В самом деле, подумайте только: родители, во имя свободы совести и прав молодого человека, отпускают, быть может, навсегда, своего любимого сына, первенца, — опору их старости; а отважный сын, чтобы не нарушать заветных верований родителей, решается итти пешком 5.000 верст, чтобы найти себе подругу жизни среди единоверцев!..

Второй сын, 17-летний Самсон, уговаривал родителей отпустить брата, обещая последнему удвоить свои заботы об отце, матери и остальных двух младших братьях.

С своей стороны, я обещал Елисею оказать посильную помощь молодому Тимофею на его пути по Сибири и в самой России; обещал даже, если он благополучно доберется до родины, приехать к нему и познакомиться с «братьями».

Я дал Тимофею рекомендательные письма к товарищам-ссыльным на пути следования его по Сибири, которых просил оказать молодому человеку всяческое содействие и помочь ему добраться до России. Кроме того, я расчитывал обогнать Тимофея на пути в Россию и лично попросить товарищей дружески встретить его и помочь ему.

Тимофей вышел, примерно, за неделю до моего выезда. А я выехал из Читы 12 июля 1887 года и нагнал его почти на средине пути между Яблоновым хребтом и Верхнеудинском. Он присоединился к возвращающимся с Амура отпускным солдатам и был очень доволен их спутничеством.

Случайно, как раз на той же станции был этап, на котором «дневала» чуть не две недели маленькая партия уголовных каторжан, отбывших свой срок и шедших в ссылку на поселение. В этой же партии шел, с Кары в Якутку, и мой товарищ по процессу 193-х, Павел Орлов, коего, за месяц перед моим отъездом, я видел в Чите. Я отправился к этапному офицеру, которого знал за хорошего человека. Он меня тоже узнал, когда я сказал, что был старостой при партии политических каторжан два года тому назад. Он разрешил Павлу Орлову, под честное слово, в сопровождении одного солдата, без ружья, пойти на станцию, где я остановился ночевать, с целью повидаться и побеседовать с Орловым и Тимофеем. Так мы трое сошлись в одной крестьянской избе и проговорили до поздней ночи. Плотно закусили, раза два напились чаю, я дал каждому по 10 рублей, и мы расстались навсегда.. (Павел Орлов умер трагически в якутской области).

Не буду останавливаться на очень интересных приключениях моих на пути в Россию. Во всех городах, больших и малых, были рассеяны старые товарищи-ссыльные, и многие из процесса 193-х. Не говоря о Чите, Бабка Брешковская жила тогда

на поселении тоже в Забайкалье, в глухом городишке Селенгинске. Иркутск был переполнен ссыльными, Томск тоже. Там группа товарищей, с Феликсом Волховским во главе, были фактическими редакторами томской газеты «Сибирь». В Томске я остался на несколько дней, чтобы дождаться и насладиться величественной, незабвенной картиной полного солнечного затмения. Многих из старых товарищей того времени я встретил потом заграницей, куда я бежал уже из вторичной ссылки, и где многие годы пришлось потом вместе жить и работать.

На всем протяжении длинного пути по Сибири я не пропустил ни одной партии политических, следовавших из России в Восточную Сибирь. Благодаря знакомству с этапными офицерами и особенно благодаря знанию самых сокровенных тайн арестантской жизни, мне всегда удавалось проникать в этапные помещения и беседовать с товарищами. На одном этапе неподалеку от Нижнеудинска я встретил таким образом довольно большую партию политических, среди коих был покойный старый товарищ мой Данилов, «всесветный гражданин», отказывавшийся приносить присягу какому бы то ни было государству, и вместе с ним поныне здравствующий Владимир Львович Бурцев.

Всюду я предупреждал товарищей о «походе» и приходе Тимофея Сукача, так что считал благополучный путь его обеспеченным.

— . —

Нужно напомнить, что то было время полного разгрома партии Народной Воли, когда зловещий победоносцевский дух витал над всей Россией, и Александр III, как свинцовая глыба, навалился на нее. Настроение ссыльных товарищей было, однако, очень боевое, и все возлагали на меня миссию — заняться восстановлением организации пар-

тии «Народной Воли». Поэтому я двигался в Самару не торопясь. Я останавливался во всех попутных городах, знакомясь с настроением товарищей и молодежи. В Казани я нашел своего старого товарища по гимназии и по процессу 193-х, Н. Е. Петропавловского-Каронина. Решено было объехать все приволжские города, как только я приеду в Самару и где-нибудь осяду.

Чтобы получить возможность без подозрений отлучаться из Самары в разные города, я решил снова записаться в частные поверенные и поселиться в Бузулуке.

По приезде в Самару, озабочиваясь о судьбе Тимофея, я тотчас же написал на родину Елисея, извещая бабушку и единоверцев о путешествии его на родину. Написал кратко, как пробное письмо, чтобы убедиться, что письмо дошло.

Впервые я дал свой адрес и свои имя и фамилию. Я получил тоже краткий, но восторженный ответ. В следующем письме из Самары на имя того же штундиста-фельдфебеля я снова извещал, что Тимофей идет от родителей — привет передать своим единоверцам, «людей посмотреть и себя показать»... «и еще с одной целью» — писал я, намекая на его желание жениться, — «о которой вы узнаете после, когда понадобится братская помощь ваша».

Они меня знали уже по письмам Елисея из Сибири, знали, что я автор «послания» и потому с доверием отнеслись ко мне, как к своему «брату».

XVI

MEA CULPA

В сентябре я приехал в Россию, а в ноябре уже получил свидетельство на право хождения по де-

лам от съезда мировых судей бузулукского уезда, где до ссылки моей я состоял поверенным. Свидетельство было выдано, несмотря на протест прокурора.

В декабре 1887 года министерство внутренних дел телеграммой запросило съезд: «Выдано ли Е. Е. Лазареву свидетельство на хождение по делам?»

Председатель съезда ответил тоже телеграммой: «Выдано».

Свидетельство выдается на календарный год. Текущий год истекал через месяц. Несмотря на внушительную телеграмму из министерства, съезд снова выдал мне свидетельство на 1888 год.

В январе получается из министерства новый запрос: «Выдано ли свидетельство Е. Е. Лазареву на 1888 год?».

Председатель вновь ответил: «Выдано».

Я, да и все судьи, понимали эти запросы из министерства, как недвусмысленное давление на судей, чтобы лишить меня общественной деятельности.

Когда председатель сообщил мне о получении второго запроса, я предложил ему ответить:

«Не выдано, и впредь выдано не будет», — чтобы не навлечь на съезд неудовольствия министерства...

Председатель съезда, Булгаков, известный по губернии «столп отечества», строгий консерватор, но прямой и лично честный человек, — обиделся и с гордостью ответил:

— «Судьи — представители законности, и не могут, не унижая достоинства суда, руководиться в своих решениях внушениями чинов полиции и администрации. Мы не знаем о Вашей административной ссылке и знать не хотим: нас не извещали об этом. И мы рассматриваем это обстоятельство, как «безвестное отсутствие» или временное нежелание заниматься адвокатской практикой.

Но раз Вы снова явились и пожелали получить свидетельство поверенного, которое Вы имели столько лет, съезд, зная Вас за человека полноправного и отвечающего всем требованиям хорошего поверенного, беспрепятственно и охотно выдал Вам свидетельство».

— «Конечно, добавил он конфиденциально, если Вас опять отдадут под гласный надзор полиции, как раз уже сделали это до Вашей ссылки, ну, тогда — другое дело, ибо согласно высочайшему указу о поднадзорных, таковые лишаются судебной, адвокатской, учительской и даже медицинской практики».

Я привожу этот случай, как маленькую картинку еще не столь далекого прошлого...

При таком положении дел, я уже начинал верить, — и все были уверены, — что моя судьба так или иначе решится административным порядком. Во всяком случае, я рассчитывал самое большее на отдачу меня вновь под гласный надзор полиции.

Но русское правительство еще раз внушило мне, что гораздо целесообразнее всегда надеяться на большее, чем на меньшее...

XVII

МАТЬ

Возвратившись из Сибири, я еще не успел оглядеться как следует в окружающей обстановке, а моя 80-летняя мать не успела оправиться от радости и насмотреться на меня, как мне пришлось уехать на две недели, чтобы объехать приволжские города, от Саратова до Нижнего. Я застрял особенно долго в Пензе, где нашел горячую компанию молодых народовольцев.

Чтобы дать матери перед смертью маленький

отдых в вознаграждение за все ее бесчисленные страдания, я решил поселиться не в селе, а в городе Бузулуке, взять к себе мать и обставить ее хоть перед смертью всеми удобствами, какие могли быть в моем распоряжении.

Я нашел хорошую квартиру и приготовил удобную комнату для матери. Она весь свой век прожила рабочей крестьянкой. Она перенесла из-за меня гораздо более тяжкие душевные муки, чем в долгие крепостные времена. И помню я: с какой заботой, вниманием, рвением и любовью я обставлял ее комнату всяким комфортом, стараясь хоть на тот свет проводить ее «буржуйкой»...

И Бог наказал меня... Мать должна была приехать ко мне 19 февраля, а ночью 18-го я был арестован, и в ту же ночь отправлен в Самару и посажен в знакомую мне тюрьму...

Счастливая старуха-мать аккуратно утром приехала к своему «ненаглядному сыну», который так привык сидеть в тюрьмах..., приехала с тем, чтобы унести на т о т свет окончательное убеждение, что на э т о м свете существуют только одни мечты и пустые надежды... Захватив с собой этот мудрый вывод из жизненного опыта и мое «имущество», она вслед за мной приехала в Самару.

Здесь, в Самаре, жандармы предъявили мне на допросе оригинал моих двух последних писем из Самары на родину Елисея и оригинал «послания» к штундистам.

Увидя их, я тотчас же понял, что мне нужно вновь собираться в Сибирь...

Начальник киевского жандармского управления, генерал Новицкий, знаменитый воспитатель еще более знаменитого палача Судейкина, производил дознание по этому делу. В марте 1888 года он пригласил меня к себе в гости: посадил сначала в Старо-печерскую часть, а потом в почтенную

Лукьяновку, в небезызвестную киевскую тюрьму, где я и оставался до 13 августа того же года, т. е. до моего отъезда в московскую центральную пересыльную тюрьму, мою милую и радушную Бутырку.

В Киеве я узнал, что арестован только штундист, на имя которого я послал два последних письма и у которого нашли оригинал «послания».

Чтобы никого не тревожили и освободили арестованного, я подробно рассказал историю Елисея Сукача и про путешествие Тимофея; показал, что «послание» писано и послано без ведома и согласия с кем бы то ни было, что меня никто из штундистов не знал и знать не мог.

Штундиста, как мне сказали, немедленно освободили.

Новицкий сказал мне, что у них имеется несколько копий «послания», отобранных в разных местах. Но до последнего времени жандармы и не подозревали здесь политики. Тождественный почерк отобранных писем моих и экземпляра «послания» — вскрыл загадку. Штундист Лазарева не знал, а жандармы хорошо знали и ценили его...

Новицкого беспокоил особенно таинственный намек в моем письме: «Тимофей идет»... «и еще с другой целью, о которой вы узнаете, когда понадобится братская помощь ваша». Когда же он узнал, что Тимофей идет за 5.000 верст не царя убивать, а жениться, — полетели телеграфные справки в Читу о Елисее, о его сыне: был ли выдан ему паспорт? и проч.

Я хотел использовать положение, и просил Новицкого помочь молодому человеку добраться поскорее на родину. Я предлагал отыскать Тимофея на пути и экстренно доставить его в Киев. Новицкий обещал это сделать, если моя версия, т. е. мои показания и сообщения окажутся верными: он сам заинтересовался историей Елисея Сукача, особенно,

когда после расследования он убедился, что все рассказанное мною про Елисея оказалось верным.

— Если Ваши показания насчет Сибири и цели похода Тимофея на родину подтвердятся, я преклоняюсь перед его романтизмом, и обещаю Вам, — говорил он смеясь, доставить его сюда на казенный счет, женить и с почетом отправить к родителям.

Усиленные розыски Тимофея были, действительно, сделаны. Я указал на партию возвращавшихся с Амура отставных солдат, к которым Тимофей пристал. Были сделаны запросы в Читу и Иркутск подлежащему начальству. Прохождение такой партии подтвердилось, но был ли при ней Тимофей — никто удостоверить не может. Выдача ему трехгодового паспорта, конечно, подтвердилась раньше всего.

Между тем, как впоследствии оказалось, Тимофей, действительно, пропал, и до сих пор неизвестно, где он погиб. Позднее, от своих товарищей-иркутян я узнал, что Тимофей благополучно и в добром здоровьи проследовал через Иркутск. Когда я вновь попал в Сибирь, от Елисея Сукача я получил письмо, где он сообщал, что последнее письмо от Тимофея с дороги он получил из Красноярска, в конце лета 1887 года. И с тех пор о нем не было ни слуха, ни духа... По всей вероятности, он случайно умер где-нибудь в дороге или убит бродягами из-за драгоценного для них паспорта. По крайней мере, до дня моего побега из Сибири в Америку, т. е. до лета 1890 года, о Тимофее не было никаких известий.

Так трагически завершилась судьба одного из героев нашей повести...

Что касается до меня, то дело мое от жандармов перешло к прокурору киевской судебной палаты, потом к министру юстиции. Юстиция нашла, что гласное судебное разбирательство невыгодно,

ибо судить, собственно, не за-что, ибо «послание» было основано на строго религиозно-нравственных началах. Православный богослов, киевский протоиерей, которому давали «послание» на заключение, несмотря на несомненную опасную тенденцию «послания», только позавидовал красноречию и христианским чувствам его автора.

В виду всего этого, через министра внутренних дел графа Д. А. Толстого, дело мое было представлено на личное усмотрение императора Александра III. А император, на полях доклада, вероятно, под диктовку Толстого, собственноручно начертать соизволил:

«Сослать Лазарева в Восточную Сибирь на пять лет. 6 августа 1888 года. Александр».

Генерал Новицкий показал мне это решение императора и сказал, что срок моей новой ссылки, согласно резолюции императора, начинается 6-го августа.

Решение императора мне было объявлено 12-го августа. И я убедительно просил Новицкого, чтобы меня немедленно отправили в Москву, дабы захватить последнюю, уходящую в этом году в Сибирь, партию политических ссыльных, — иначе, как и в первый раз, мне придется просидеть всю зиму в Бутырках — в ожидании отправки первой партии 1889 года.

Новицкий сказал, что моя дальнейшая судьба от него не зависит; что отныне я состою в ведении министерства внутренних дел или, точнее, в распоряжении тюремного ведомства.

Я был очень огорчен. Я так рвался в мою милую Сибирь, что ни минуты лишней не хотел оставаться в Европейской России...

Но Провидение мне, очевидно, покровительствовало. Как раз на другой день, по объявлении приговора, в мою камеру вошел с визитом сам

Галкин-Врасский, мой старый знакомый начальник тюремного ведомства. Я выразил свое горячее желание попасть как можно скорее в Сибирь и захватить последнюю партию. Он сказал, что партия отправляется на этих днях и что попасть в нее трудно. Я просил, по старому знакомству, как-нибудь ускорить мой отъезд в Москву.

И — о, счастливое Провидение!... Галкин Врасский дал телеграмму: задержать партию политических до следующего этапа.

Через день с двумя жандармами я был отправлен экстренно в Москву по железной дороге, в отдельном купе II класса, и, переночевав в знакомой мне курской тюрьме, я благополучно попал в объятия моей милой Бутырской Часовой башни...

Там меня ждала многочисленная группа молодых товарищей, которая сначала была недовольна мной, что из-за меня задержали партию, но узнав, кто я, меня тотчас же избрали старостой... (В те времена, до проведения Сибирской железной дороги, партии политических ссыльных отправляли из Москвы три раза в год, с мая по август).

При вступлении в Бутырки и специально в Часовую башню, где я совсем недавно, в 1884 году, просидел 8 месяцев в ожидании первой партии следующего года, я не утерпел и первым делом запел:

Мне все здесь на память приводит былое,
И юности красной привольные дни...

Так, под счастливой звездой, началась моя вторичная ссылка в Сибирь, — на этот раз в зимний сезон, в трескучие сибирские морозы..., тем же этапным порядком, вплоть до Иркутска.

На этот раз меня поселили в бурятском улусе,

укырской волости, балаганского уезда, иркутской губ. Среди бурят шаманского вероисповедания.

Ха-а-рошие были времена!..

Но об них — в другом месте.

XVIII

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Для многих, все-таки, может остаться загадочным: как же это случилось, что вместо народовольческой линии меня отправили по штундистской, религиозной дороге?

По русским обычаям того врмени сделалось это очень просто:

Писарь того волостного правления, где жили наши штундисты и мать Елисея Сукача, получив почту, заинтересовался: «Кто бы это мог писать из Самары местному известному штундисту письмо?... и второй уже раз?»... За отсутствием газет, он любил вскрывать письма и прочитывать корреспонденцию подведомственного ему населения. При особенно радостных известиях, не передавая письма, он шел к счастливцам, чтобы поразить их радостной новостью. В несчастных случаях тоже шел — подготовлять, утешать несчастливцев...

Таков русский обычай... Так и в данном случае: заинтересовавшись письмом из Самары, — вместо того, чтобы передать его по назначению, т. е. адресату, он вскрыл, прочел его и нашел в нем много таинственного, непонятного, и потому, для выяснения дела, отправил письмо по другому «назначению» — посредственно или непосредственно, — в киевское жандармское управление.

Здесь прочли... Увидели подпись: Е. Лазарев... и тотчас же сломя голову помчались «по назначению», к адресату... Произвели обыск... Нашли

мое первое письмо и подлинник безымянного «послания»... Сличили почерк... «послание» и письма писаны одной рукой...

— Ага!... У нас в архивах хранится уже несколько экземпляров его!.. Так вот кто его автор!!.

Без дальних разговоров, захватили жандармы с собой «адресата» и привезли в Киев...

Остальное, надеюсь, понятно.

Теперь предоставляю читателю самому формулировать кратко причины моей вторичной высылки в Сибирь.

ПО ЭТАПУ ИЗ МОСКВЫ В СИБИРЬ

Дневник с 10 мая по 8 июля 1885 г.

10-го мая.

Вначале объявили, что отправят партию 14 мая, позднее переменили на 10-е. 8-го и 9-го — страшная возня со сдачей вещей... В 9 часов утра пошли в контору; перекличка... Тягостное чувство, и потому отсутствие песен в дороге на вокзал... Свидания и прощания на вокзале... Со Смоленского вокзала тронулись в половине первого. Жара. Большая передача на Нижегородском вокзале... В Нижний тронулись в 5 часов вечера... Бессонная ночь, проведенная в женском отделении. Теснота. Ошибка: на железную дорогу взято много ручного багажа.

11 мая.

Прибыли в Нижний в 9 часов. Путешествие по Кунавину до баржи. Она новая, поместительная, с двумя отделениями: женщины наверху, мы внизу... Площадка для прогулок мала. — Цена молока и яиц по дороге очень дешевая... Пищу сварили поздно, часов в десять ночи. Истерия Малёванной расстроила всех наших барынь. После поверки, часов в 11—12, когда мужчины разошлись, я перенес с палубы Малёванную в женскую каюту; не успел я вернуться назад, как Присецкая свалилась на место Малеванной; так подействовал на нее безжизненный вид Малёванной[1]). Я остался ночевать

---

[1]) Истерия Мар. Ник. Малёванной, только что с ребенком прибывшей с юга России, чтобы добровольно следовать с партией в ссылку за мужем, В. Г. Малёванным, вы-

на палубе, расчитывая помочь женщинам в случае повторения «оказий»... Спал, как убитый... В шесть часов утра, вследствие сильного ветра, я проснулся. Утро было холодное, но обещало светлый день. Умылся, почувствовал себя бодрее и стал любоваться берегами родной многоводной реки. Мрачное и светлое, гадкое и теплое чувства менялись, чередуясь... Прошлое, настоящее и будущее моей жизни были предметом моих дум. Решил в Сибири заботиться главным образом о своем здоровье, рассчитывая, что остальное «приложится». — Блинов виделся с товарищами, ехавшими из Питера. Сообщали, что слух о смерти В. Фигнер не верен. Кроме того, говорили, будто Мышкин расстрелян в Шлиссельбурге.

12 мая.

День — прекрасный, рано все стали подниматься. Несмотря на очевидную разбитость, — каждый, соснув, считал необходимым казаться бодрым. М. Н. неоднократно украдкой просила не подавать виду, что она чуть сидит. Тихонько я отпаивал ее водой. В. Васил. чуть держалась целый день... — В Васильсурске и Чебоксарах пробовали петь, хотя голоса — не из блестящих. — А. В. была утром бодрее, хотя со следами нервного расстройства. К вечеру — физически более крепка, хотя не без раздражительности. Малёванный — был политик не совсем «политичный», стараясь успокоить М. Н-у. В. Васил. оказалась ниже своей роли и той нравственной крепости, какую я думал встретить. — В Чебоксары прибыли часа в четыре.

звана была охлаждением к ней последнего, увлекшегося Варварой Васильевной Шулепниковой. Покинутая жена оставила партию в Томске; В. Г. Малёванный и В. В. Шулепникова отбывали ссылку в Восточной Сибири совместно. Многие записи в дневнике касаются этой тяжелой истории (см., например, записи 12, 13, 15, 16, 25, 26 мая).

Публика; чувашские национальные костюмы. — Молоко по дороге покупали по 10 копеек горшок средней величины. В Нижнем говядина, купленная у поставщика (обманом), стоит 4 р. 25 к. пуд; картофель — 40 коп. пуд. Зелень — морковь и проч. — не дешева. Рыбы достать не могли. — Калюжная, — единственная из всех все время бодрая, — была в ударе и радовала меня. Прекрасная дівчина!

13 мая.

Встал в половине четвертого, разбуженный криками на палубе Дейча, Пчелкиной и Чемодановой. Выйдя на палубу, узнал, что к Дейчу и Чемодановой пришла родня на свидание и, в ожидании пробуждения полковника, перекликалась с ними с берега. Принесли провизию. Получил поклоны из Казани. Батя там. — Присоединили в Казани Яковлева, донского казака из студентов харьковских; сидел полтора года и ссылается административно в Зап. Сибирь на три года (в Кокчетав акмолинской обл.). Свидание Дейча с сестрой и Чемодановой с братом и сестрою... — В Казани присоединилась партия уголовных в 400 человек; палубу разгородили, стало теснее. — В 11 часов, при ясной погоде, мы выехали из Казани с песнями. Публика была оживлена. А. В. стала выглядеть здоровее. В. В. и М. Н. ломали до нелепости себя. В. Г. вел себя глупо и бестактно. — Повернули в Каму; вода стала мутная. Виды прекрасные, разлив широкий. Дежурными были Пчелкина, Гаврила Врочинский, Гончаренко, Белич. Варили мясной суп, делали котлеты; вкусный обед. — К вечеру М. Ник. решилась мне открыть всё, что накипело у ней. Говорила о завещании и ребенке. Я сделал удивительное открытие еще накануне о ее грубой близорукой ошибке. Я потерял всякое уважение к виновнику ее скверного расположения духа. В. В. —

все более теряет в моём мнении. М. Н. заподозрила меня в мистификации, когда я открыл ей глаза. — Я делаюсь всеобщим поверенным... Мне удается успокоить всю заинтересованную публику и стороны. — Разговор с Ан. В. по поводу всей этой истории и ее удивление. К вечеру сделалось мне скверно на душе, и я ушел рано спать, не желая оставаться на виду. Пели до поздней ночи.

14 мая

Встал в шесть часов. День был прекрасный, я был дежурный. На пристани «Соколки» купили стерлядей, по сорока копеек за десяток. Чистили приварок на корме, появление «барынь» и недоразумение с Лаврусевич. Я извинился. — Накануне задумали выбирать старосту; Коновальчик отказывался, предлагали мне, но я отказался до Тюмени. Варили щавельный борщ и суп, делали котлеты. Расстройство Сербиновой и Мельниковой. Столкновение «барынь» и объяснение мое — с Мельниковой; дело улаживается. — Берега прекрасны. Погода чудная. Вел разговор с N о возможном будущем. Я часто начинаю подумывать о том, что рефлексия и благоразумие вообще подчас являются подлостью и убийством лучших сторон человеческой души. N говорит, что вся беда — от чрезмерной честности. Можно согласиться. — Елабуга — прекрасный городок; видна башня, которую, будто бы осаждал сам Пугачев[2]). Стояли там с час. К вечеру все были прекрасно настроены. Пели, бесились, играли. Варили уху; вкусно. Вечером перешли в отделение уголовных, для прогулки. Полковник был очень любезен и внимателен, что расположило в его пользу всю партию и несколько загладило неприязненное отношение к нему в Москве. Удивительная нелепость,

[2]) Пугачев до Елабуги не доходил. Полуразрушившаяся башня принадлежит к древним болгарским постройкам. Ред.

когда начальство думает самодурством или грубостью добиться чего-нибудь, кроме громкого скандала. Вежливость, внимание — просто как к людям, — сделают в десять раз больше, чем бурбонские приемы приказаний. В половине двенадцатого ночи мы разошлись по камерам.

15 мая.

Утром проснулся рано, но захотел понежиться и пролежал с час. Собрались отдать белье стирать, я переменил белье и вытерся холодной водой. В семь часов вышел на палубу. Погода прекрасная, и виды Камы оригинальны. Правый берег очень крут. Перед обедом пристали к Сарапулу. Блинов виделся с сестрой, которая провожала до первой станции. Сарапул, довольно хорошенький городок, с множеством красивых каменных домов, убран был флагами по случаю дня коронования. Народу на пристани было много. — Партия вошла в колею и стала находить путешествие на барже превосходным. — В Сарапуле запаслись хлебом и провизией. Обед был более, чем изобильный и вкусный. Я был в прекрасном настроении духа и долго беседовал с Любов. Васильевной по поводу странности семейных отношений, когда жена, будучи глупее и неразвитее мужа, ухитряется держать его под башмаком. Она приписывала подобный казус нежеланию мужей выполнять мелкие женские работы, почему мужья становятся, будто бы, в зависимость от жен. Эти и её рассуждения о равноправности меня не мало смешили. — Мария Николаевна отказалась воспользоваться правом итти в город на правах добровольно следующей за мужем. Купили несколько фуражек; надумала купить себе, — для оригинальности больше, вероятно, — и А. В. Это еще простительная слабость, но... фуражка оказалась мала, и солдат, примеривая ее, надел на свою голову раньше, чем ей уда-

лось примерить. Она отказалась надеть фуражку, потому что фуражка побывала на голове солдата. Что это: брезгливость или пренебрежение? Это до такой степени мне было неприятно, навело на ряд таких соображений, что весь остальной день был отравлен. — Варвара Васильевна призналась, что она хитрит. Это, в связи с предыдущими соображениями, только усугубило мое дурное расположение. — Кама продолжает быть многоводной и широкой... Разошлись часов в двенадцать.

17 мая.

Вчера встал поздно и вышел в скверном расположении. N помогла рассеяться. Целый день просидел на одном месте. Поздно вечером проехали Оханск. К вечеру поднялся ветер, но просидел на палубе до свету. Просидел глупо и злился. Сегодня встал часов в семь. Часов в десять пристали к Перми. Я написал письмо Володе. После обеда на барже, на которой мы оставлены до семи часов вечера, я говорил с N о своем деле. Она высказала довольно умно и определенно свой взгляд на известное положение. Кабы ее устами — мед пить! — Баржу подвели прямо к вокзалу железной дороги, который стоит почти на берегу Камы. Город с виду — солидный. Вчера проезжали Осу, городок по виду неказистый и скучный. Противоположный берег прекрасен. — В семь часов вечера перешли на вокзал и через час или два тронулись. Вагоны прекрасные, высокие и удобные. Новый конвой. Были все веселы и в прекрасном настроении. Блинов был в ударе, рассказывал про Пермь, про знакомых; он учился там в первом классе гимназии. Виды прекрасные.

18 мая.

Едем горами, местность интересная, но ничего особенного не представляет. Горы, хотя и значи-

тельной высоты, не поражают зрителя своей грандиозностью, как, например, Кавказ. Сплошь покрыты лесом: сосна, ель и пихта по преимуществу надоедают своим однообразием. — Тагильский завод имеет несколько церквей, из которых одна стоит одиноко на горе значительной высоты. Завод представляет громадное село, — судя по постройкам, в 30—40 тысяч жителей; отсутствуют хорошие жилые здания. Близ самой Перми есть пушечный завод, с которого стреляли в день нашего пребывания там. Проехал на пароходе, должно быть, помпадур, с хором военной музыки. — В Екатеринбург прибыли в 6½ часов вечера. Погода хорошая. Много публики; сошли все веселые, шли с песнями пешком до тюрьмы, медленно. Дорогой наглотались пыли — тюрьма от вокзала версты три. Благодаря тактичности полковника — он предоставил на нашу волю устраиваться в тюрьме — всё быстро пришло в порядок. Умылись, расположились, пили чай все вместе и еще с десяток товарищей. Вымылись в бане. Тюрьма представляла сносный вид, в той части, где поместили нас; женщинам отвели помещение школы: чистая большая комната с крашеными полами; в двух остальных поместились мужчины. Вещи оставили только необходимые, ручные; все другие походные вещи сдали в багаж, чтоб не стеснять себя в повозках. Вещи выезжают завтра, в пять часов утра, а мы предполагаем выехать часов в девять. Так вещи и пойдут вперед вплоть до Тюмени. — В тюрьме так мы устроились прекрасно, что и не видели никакого начальства. Часов в двенадцать разошлись на покой, только дежурные и я не спали. Дежурные надумали готовить в больничной кухне закуску на завтра, но по моему это лишнее: утром будет суматоха и не до еды. Здесь в тюрьме умер Лузин, сидевший здесь и долженствовавший следовать с нашей партией в Зап. Сибирь на три

года. Умер от чахотки. Говорят, что здесь сидит еще один политический подследственный — будто в больнице, но проверить трудно. Барыни — М. Ник. и Сербинова — не преминули упасть в обморок. Не ведаю пока, что сей сон означает. — Вода в самоваре отвратительная, колодезная. Нужно всегда запасаться содой и лимонной кислотой.

19 мая.

Встали рано, спали хорошо. За чаем вышло недоразумение по поводу отправки. Некоторые не хотели ехать по восьми часов на подводе с конвойными. Полковник Волков привел одну тройку на пробу и все разместились. Утихли. Ехали: я, Сербинова, Пчелкина и Левенталь. N капризничала, переходя с одной подводы на другую. Выехали весело и шутливо. NN был очень весел и шалил, за что, по моей неумеренности, был наказан вывихом большого пальца на руке! Жаль. — Екатеринбург — прекрасный город, с превосходными домами и церквами. — Порядок следования следующий: конвой и тройки размещаются по номерам, и каждый конвойный знает номер своего ямщика и арестантов, их вещи и проч. Выехали случайно из Екатеринбурга не по порядку номеров; отложили исправление до первой перепряжки. Присецкий, выехав таким образом четвертым, не хотел позволить ехать впереди нашей тройке номер четвертый. Слез с повозки и отказался ехать; смешно и глупо. Вечером на станке вышли из-за этого крупные разговоры. Раздражительность я допускаю и признаю ее законные права на существование во всяком порядочном человеке, но грубый и мелкий эгоизм — никогда. Я добровольно позволил ему обогнать себя и встать четвертым. — В Косулине мы перепрягали лошадей: расстояние — 26 верст. На этапном дворе, огороженном тыном, встретили нас торговки, где предлагали

очень дешево молоко, сырое и топленое, сливки, сметану, шаньги, мясо вареное, лапшу и яйца. Яйца $1\frac{1}{2}$ коп., крынка молока 5 коп., шаньга 2 коп. Яичница, жареная рыба и проч. — дешевы. Перепряжка заняла около четверти часа. Быстро поехали дальше. Пчелкина ушла от нас и на ее место села, тоже до первой остановки, Калюжная. Девица серьезная. 26-ть верст до станции Белоярской проехали в два часа; весело. Пыль от самого Екатеринбурга страшная. В Белоярской провели время до 11—12 часов ночи, гуляя по двору; песни и беседы. Клопов не было; хотели запереть на ночь, но мы не позволили.

20 мая.

Утром встали в 5 часов; день обещает быть жарким. Напились чаю. Выехали в $\frac{1}{2}$ 8-го. Присецкий снова вздорил со всеми. Пыль страшная; по бокам дороги тянутся только дорожные березы «аракчеевские». Лес реже и мельче; видны по сторонам строющиеся вокзалы. Первая перепряжка в Белейке; двора нет. На улице закусили; ехал с Лев., Сербиновой и Пчелкиной.

22 мая.

Миновали столб, отделяющий границу Сибири. Прибыли в Тюмень в $7^1/_2$ ч. вечера. Началась «приемка». Состоялись назначения.

Назначены: в Ишим: Анна Васильевна Пчелкина, Федор Дмитриевич Яновский, Степан Сергеевич Степанов, Клара Ефимовна Левенталь, Владимир Степанович Семяновский, Эмилия Петровна Семяновская (Репикова), Илларион Иванович Коновальчик; в Березов: Ив. Андр. Белич, Илья Абрамович Френкель, Иосиф Павлович Вейнберг; в Сургут: Сергей Васильевич Сотников, Александр Александрович Семенов, Не-

стор Трофимович Франчук, Дмитрий Иванович Ослопов, Петр Алексеевич Недошивин, Николай Александрович Блинов; в Толгу: Дионисий Францевич Козловский, Анна Александровна Козловская; в Тюкалинск: Ив. Владисл. Врочинский; в Степи: Степан Стратон. Яковлев, с женой и ребенком; в Кокчетав: Александр Яковлевич Энгель; место назначения неизвестно: Дмитрий Васильевич Николаевский, Александр Павлович Гончаренко, Федор Иванович Свидерский, Марфа Михаил. Сербинова, Вера Дмитриевна Мельникова, Алексей Григорьевич Гавриленко, Михаил Кондратьевич Лаврусевич, Евгения Константиновна Бабушкина.

По приезде, после переклички, женщины предложили итти в женскую тюрьму, насупротив мужской, через улицу. Вещи их отнесли туда, но мы, не желая разделяться, решили их оставить при себе: они должны были притти пить чай. Пришли, и мы их оставили. — Объявили, что «западники», за исключением «сургутцев» и «березовцев», отправятся на другой же день пеше-этапным порядком. Утомленные, разбитые дорогой «западники» решили протестовать против такого пути и бороться силой. «Восточники» все присоединились и решили всей партией сопротивляться, несмотря на то, что, может быть, пришлось бы остаться им и в субботу в тюменском этапе. Первая партия в прежние годы шла водой до Омска, и потому в отправке пешеэтапном путем... следует видеть просто репрессалии правительства. — Напившись чаю, мы решили позвать смотрителя и объявить, что завтра «западники» не поедут. Смотритель пришел, мы предъявили это требование и потребовали, чтобы он вызвал исправника. Смотритель уехал и привез отказ исправника. Тогда, готовясь к крутой развязке, мы на сходке решили итти на крайности. Всю ночь

прогалдели, и только на рассвете немного заснули (часа на два). Утром, после раннего чая, стали готовиться к вооруженному отпору. Исправник вел себя очень тактично. Мы заявили, что «восточники» не поедут в субботу. Начали перекликать, и Гончаренко, по ошибке, вышел за ворота, чтобы заявить свой отказ, но с этим выходом он фактически и юридически считался сданным конвою. Его уже не пускали во двор, и он, воспользовавшись оплошностью солдат, бросился к калитке; мы ее растворили... Произошла свалка: мы тащили Гончаренко во двор, солдаты — на улицу. Вскоре мы взяли верх. После того возбуждение дошло до крайних пределов, и мы все отказались итти на вызов. Вошел офицер и заявил издали, что нас возьмут силой. Мы тотчас же все вошли в камеру и хотели баррикадироваться. Но исправник, вызвав меня, объявил, что насилия совершать он не будет, а составит протокол о неповиновении, формулируя, как ходатайство с нашей стороны перед правительством об изменении порядка следования (против пеше-этапного пути). Протокол телеграммой был сообщен в Тобольск, оттуда в Тюмень успел уже выехать губернатор. За него Дмитриев-Мамонов отвечал: «прибывшую в Тюмень партию политических отправить установленным порядком, о неповиновении произвести следствие и о времени отправки своевременно донести». Нас заперли на день и не пускали гулять до вечера. Исправник был несколько раз и просил только не делать неприятностей местной администрации нарушениями установленного внутреннего порядка. Женщин хотели снова перевести на женский двор, но мы отказали. Камера №1 — очень тесная; мы отгородили место для женщин и расположились кое-как под нарами на полу и где попало. Картина — не обычная... Меня избрали старостою. Мне приходилось быть

всюду, говорить с начальством, с товарищами и заниматься всякими мелочами. Я несколько раз был близок к обмороку. Варв. В. и Алексеенко и М. Н. — в обмороке. Вечером пошли гулять и прогуляли после зари часов до 12-ти.

24 мая.

Утром не пожелали быть запертыми, и целый день были на крыльце и около крыльца. К Алексеенке пришел доктор, предписал найти ей место с чистым воздухом. Она отказалась итти от нас; составили протокол, и кроме того протокол об отказе женщин вообще перейти в свое отделение. Губернатор должен был приехать, — ждали его. Время провели весело. Стали успокаиваться, но явилось опасение, что начальство, вместо насилия, решилось взять нас измором, т. е. оставить сидеть в Тюмени, сколько мы хотим. — За все эти дни в Тюмени мы получали кормовые деньги по десять копеек в сутки только на привилегированных; остальным выдавалось натурой. Стоит обратить внимание на бессовестную кражу надзирателями при посылке их в город за покупками. Мясо доставляли по 4 р. пуд, а на пароходе от подрядчика — 2 р. 50 к. Белый хлеб в Тюмени 4 к. фунт. Лимоны 7—10 к., а при личной покупке — по 5 к. Простого пшеничного хлеба нет. Шаньги и витушки — по 5 к. за пару.

25 мая.

Утром приехал губернатор со свитой. Я объяснялся. Объявил, что «степняки» отправятся по маршруту прежних лет — водой до Омска, а «ишимцам» обещал возможное облегчение. Партия успокоилась, и «восточники» стали собираться к отправке. Суета; двор весь переполнен арестантами. Винокуров (полковник) отложил отправку до шести

часов вечера. Началось прощание. Тяжелые минуты. Свыклись, сжились, как родные, и приходилось расставаться, быть может, навсегда. Я рассеивался еще тем, что мне, по моим обязанностям, приходилось быть везде. Наконец, тронулись пешком на пристань, провожаемые криками оставшихся товарищей. Я был раздражительно весел, мне хотелось петь. До пароходной пристани версты две. Заняли каюту, разместились довольно удобно; на палубе отгородили слишком мало места: одна сажень в ширину, сажени две в длину. Тесно. Забыли несколько вещей; посылали за ними на извозчиках. Когда снесли вещи с палубы, все мы вышли и стали пить чай. Чувствовали себя хорошо все, но утомленные предыдущими событиями и бессонными ночами, скоро улеглись. Еще раньше М. Н. решилась остаться в Томске... Ходили в баню и написали отпускную Мар. Ник. Спандони удивлен.

26 мая.

Утром встал часов в семь. Пили чай. Я хлопотал по кухне. Готовили в общей; дежурные Франчук и Френкель. Ехали уже Турою; река не широкая, но глубокая, больше Самарки значительно. Обед: суп с гречневыми крупами и картошкой, которую я взял из цейхгауза (одно ведро за 20 к.), и котлеты. Мука на пароходе — 1 рубль пуд. Взял на подбойку один фунт. — День ясный; вид берегов веселый; все время лес; река довольно извилиста. — Часа в два обедали; вкусно. Сделал расчет и завел книжку. — После обеда въехали в Тобол, — реку, значительно шире Туры. В Зевлиеве стояли часа два и купили яиц, молока и масла, которое здесь очень дешево. Десять яиц — 10 к., ведро молока — 25 к. — Поели хорошо и разошлись спать, за исключением Малёванного и В. В-ны, которые пробыли на палубе до утра. Я прописал всю ночь куме.

27 мая.

Слышны свистки; пароход взял баржу на буксир. Встал и вышел на палубу; через полчаса показался вдали Тобольск. Въехали в устье Тобола, вода которого значительно темнее Иртыша. На протяжении нескольких верст заметна разделяющая их воды полоса. Издали вид на Тобольск довольно приятный. Общий вид сходен с видом на Нижний Новгород. Над крутым берегом значительной высоты — огромное здание, — казенное, вероятно; рядом — некрасивая церковь; невдалеке, вероятно, острог, огороженный тыном. Вдали на горе видны верхушки других хороших каменных зданий; под горою, близ берега, расположена слобода, с несколькими церквами, базаром, толкучкой и обжорным рядом — необходимой принадлежностью всякой пароходной пристани больших городов. Внизу строение больше деревянное, по-летнему непрочно и несолидно: будто летние бараки; кое-где возвышаются большие каменные дома. — В семь часов утра пристали к пристани. Я видел полицеймейстера; очень внимательный человек; обещал распорядиться об увеличении загороженной палубы; послал к губернатору за разрешением выпустить меня и «вольных» женщин для покупок на базаре. Разрешение запоздало, но все же пошли я, М. Н. и Присецкая. Купили хлеба белого — 3 к. фунт — и черного, хорошего, — $2^1/_2$ к. фунт. Перед тем 9 человек сданы были с баржи на берег, и мы снова встретились с ними на базаре: они шли в тюрьму. Прощание на палубе. Блинов капризничает; он мне очень нравится. Часу в десятом выехали. Купили водки для больных, что стоило больших хлопот, — чуть не до губернатора дело дошло. Погода не ясная, ветер и волны. Иртыш в этом месте немного разве уступает Волге: берега широкие и ровные; равнины голые и покрытые лесом чередуются. На правом

берегу часто появляются береговые возвышенности, крутые обрывы, иногда очень живописные. Чернолесье и краснолесье; деревушки убогие, в несколько дворов. Ветер и волнение. Обед — прекрасный: щавельный борщ и жареные утки; последние куплены в Тобольске по 14 коп. штука. Получил кормовых за три дня: 12 человек привилегированных и 6 непривилегированных, на первых по 15-ти коп. в день, на вторых — по 10-ть. — Вечер ветреный, с легким непродолжительным дождем, просидел на палубе; было весело. Правый берег с новейшими обвалами значительной величины. Близ Самарова в прежнее время, говорят, грозило обвалом целой деревне. Ночью винтили.

28 мая.

Проехали Демьянское в три часа утра; стояли два часа; проспал. Встал в семь часов. Мяса купили у каптенармуса. Жаль, что не запаслись в Тобольске. — Берега Иртыша попрежнему ровны, покрыты лесом; только правый берег иногда выдвигает крутые возвышения. Дежурные Дашкевич и Дейч. Этот — лодырь; когда я заставил его заняться, наконец, по чайной части, первым делом он счел нужным уронить с самовара мой жестяной чайник, отбить у него носок и чуть не ошпарить Кольку. Дебют нельзя назвать удачным. После обеда (борщ и котлеты) пили чай; перед вечером устроили пирожки с говядиной. Повар — из бродяг — превосходный («у графа, говорит, готовил»). Около семи часов подошли к Самаровскому. Приходилось огибать несколько островов (их вообще не мало по Иртышу и ближе к устью особенно), чтобы подойти к пристани. Самаровское село (церковь) издали представляет оригинальный и прелестный вид. Село расположено внизу длинной горной возвышенности, покрытой наверху хвойным лесом, с оголенными склонами,

изрытыми оврагами. По этим крутым склонам видны изгороди и гряды в огородах, обращенных почти к югу. Строение деревянное и недурное для деревни вообще; в некоторых из домов видна даже претензия на изящество; на это указывает и беседка, расположенная на красивом возвышении. — По прибытии я вышел на берег и думал кое-что закупить, но в хлебе оказалась дороговизна ужасная: фунт хлеба третьего сорта десять копеек! Рыбы не попадалось, ибо свежая рыба, которая вообще здесь дешева, привозится больше утром. Я зашел в лавочку и купил компании сластей: захотелось побаловать. Спички (1000 штук) — 5 коп.; пряники воздушные — 25 коп., сухари — 25 коп., конфекты — 40 коп., махорка — 30 коп. — все за фунт. — Немного погодя привезли в лодке карасей, довольно крупных (до трех фунтов); купили их три десятка, по 50 коп. за десяток; еще три утки, по 5 коп. Ходили два раза по берегу и в лавку. — Часа через два отплыли из Самарова. Иртыш здесь очень широк, не хуже Волги. Весною Иртыш разливается у Самаровского на двадцать верст и подходит к самому селению, почему, говорят, дома здесь выстроены на сваях, вышиною от 5 до 6 футов. Во время разлития Иртыша жители села отводят свой домашний скот на гору, в кедровый лес. Рыбный промысел — главное занятие жителей. — Чем дальше подвигаемся, тем заметнее становится, что едем в холодные страны... Берега становятся ниже; тоньше и хилее пихта, ель и кедр; последний попадается очень часто и издалека заметен своей густой шапкой... Окружающая природа и только что пробивающаяся зелень напоминают скорее осень, чем весну в конце мая. Трава и прибрежные камыши везде желтые; вид становится унылый. Особенно за Самаровским, где в устье Иртыша и в Оби все острова покрыты только мелким тальником и кое-где попадается

убогая ива, скорее похожая на пень или карягу. — При впадении Иртыша в Обь нас встретило целое море воды. Острова, острова и острова; трава — вся еще прошлогодняя, желтая, и только кое-где пробивается первая зелень. Равнина, куда ни погляди. Тоскливая картина. — Верстах в 25-ти — крутой поворот на восток и даже на юго-восток, а затем устанавливается северо-восточное направление. — Приходится все время лавировать среди островов. Идем, придерживаясь берегов, где течение не так быстро. День весь был ясный и веселый, хотя от жары осталось только одно воспоминание... После обеда и утром приходится одеваться в теплое. Ночи удивительно светлые; собственно их совсем нет: просто наволочный день, а не ночь. До 12 часов ночи сидели на палубе, затем Чуйко и компания засели в винт. Препирательство из-за свечки. — Калюжная начинает входить во вкус винта. Спандони нарядился, по случаю перемены белья, которое мы задумали стирать.

29 мая.

Встал поздно, часов в восемь, когда некоторые из публики уже пили чай. Довольно холодно. День серый. Обь значительно массивнее Волги; попрежнему острова. Идем на восток, слегка поднимаясь к северу. Чернолесье наводит уныние; едва заметны начинающие набухать почки на деревьях. Берега низкие. Дежурные Корниенко и Малёванный. — Варили на обед и жарили карасей; то и другое — бесподобно. Винтили с Калюжной. Прочел знаменитое письмо. Чудеса! Чувствую себя бодрым. Шутили и смеялись. Чемоданова не давала никому покоя с подметанием палубы. Отдали мыть белье. Калюжная после обеда угощала конфектами. Шутили над Иорданом. — После обеда соснули, и скоро запросили есть; первым бунтарем оказался Спан-

дони. — Часов в восемь вечера пристали к Сургуту. Город верстах в 9-ти от пристани, его не видно и потому ничего сказать о нем не могу. Тотчас же сошел на берег. Купил три утки за 20 коп. и карасей 30-ть штук по 50-ти коп. за десяток; караси крупные, но — по здешним местам — дороги. Молока, ведра полтора, за 75-ть коп.; мяса от поставщика, зимней колки, один пуд за 3 р. 50 коп. Народу на пристани довольно много. Из торговок попалась одна бывшая квартирная хозяйка Ал. Никол. Аверкиева; сказала, что он живет с женой и тремя детьми, что всех ссыльных в Сургуте человек семь. — Хлеб ужасно дорог: пшеничный простой, русского печенья — 5 и 7 коп. — Погода сырая, с мелким дождем. Холод страшный, на палубе трудно сидеть даже в теплом. — В 11 часов тронулись из Сургута; теперь будем слегка опускаться к югу. Сургут представляет кульминационную точку уныния, холода и бедности края. — Офицер выдал кормовые. В. В. Шулепникова была сегодня особенно весела и игрива.

30 мая.

Дождь, сырость, холод — ужасные. Чувствую насморк. Калюжная жалуется на зубную боль, не спала целую ночь. За недостатком хлеба решили выдавать ежедневно определенное количество (по два хлеба). Вид берегов попрежнему унылый; изредка пододвинутся пригорки, покрытые хвойным лесом. — Чай пили с молоком; дежурные Присецкий и Рубинок. Получил кормовые на 30, 31 мая и 1 июня — 7 р. 20 к. — Обь бурлит. Острова большие и лесистые, скрывают всю массу воды; только временами, в протоках из одного рукава в другой, замечаешь массивность и величавость Оби. — Стали попадаться изредка остяцкие постройки по берегам. Жалкие, убогие хижины, с плетневыми низкими сарайчиками, вероятно для склада рыбы, — един-

ственного у них промысла. — Перед обедом пошел сильный дождь, гром, молния. Небо — хмурое. После обеда (вкусного: уха и жареные утки; Спандони болен и не ел — спросил три яйца) проветрилось и прояснилось, стало значительно теплее. Публика разошлась и улеглась, перекидываясь шутками. Ширь Оби — удивительная. Едва виден на горизонте гребень берега. Присецкий поставил самовар, соблазняет публику на винт. Соснул часа полтора. Выйдя часов в пять на палубу, пил чай. Дождь пошел проливной, но шел недолго. Погода снова хмурая; к вечеру опять разведрилось, стало значительно теплее, тишина водворилась замечательная. По берегам появляются все более и более зеленеющие растения; заметно, что идём к юго-востоку. — Спандони велел приготовить котлеты. Повар вполне оправдывает название «графского». Из старых бродяг; прелестный человек. — Ругань и разные скабрезные анекдоты и поговорки то и дело раздаются из общеуголовного отделения. Слышатся рассуждения двух бродяг — русского и татарина — о «разрыв-траве», именуемой попросту железным ломом, о достоинстве воров татар и русских, при чем татарин уверяет, что вор-татарин крадет честно, благородно, а русский, кроме того, напакостит и обидит, в чем ему русский слабо импонирует. Слышны надоевшие за целый день крики менялы-бродяги: «купить, продать, промотать, новое и старое променять!» Тип бродяги и самое его поведение в российских тюрьмах, по сравнению с поведением его в сибирских, — совершенно различны. Уже в Перми, на пути в Сибирь, он сжимается, падает духом, «словно колдует кто», как они сами говорят. Здесь незаметно уже той отличительной дерзости, бесшабашности по отношению к начальству и преступникам других категорий. Хвастливость тоже значительно ослабляется, потому что и сами но-

вички начинают знакомиться с сибирскими порядками и переживать то, что составляет предмет хвастовства для бродяг в российских тюрьмах, пред лицом слушающих их разиня рот местных обывателей, внимающих каждому их слову. Этот их ореол здесь падает. Начальство же обращается по-сибирски строго. Плети в большом ходу, даже до бесчеловечности. Так, за разбитые три окна в трюме, не найдя виновных, по приходе в тюрьму староста получил 150 ударов. Протестовать они решаются только в крайне возмутительных случаях. Ключникам без разговору подчиняются, объясняя это часто тем, что, служа по десять и более лет, они знают многих уголовных, но не выдают. Это вошло как бы в обычай. — К вечеру стало совсем тихо. Обь, как стекло. Местами попадаются удивительные ландшафты, особенно в протоках, затонах и устьях впадающих в Обь притоков. То и дело встречаются целые «улицы» и водные галлереи, обрамленные высоким тальником, ветлами и березками. — В нескольких местах видели остяков, которые выбегали из своих, большей частью свайных, построек к берегу, подивиться на нас. Удалось вплотную познакомиться с их оригинальными свайными храминами. Вызывается это необходимостью: во время половодья речная долина и весь лес заливаются водой. Убогия хижины, возведенные на сваях, напоминают сморщенных старушонок, взгромоздившихся на высокие ходули. Сообщение между хижинами во время половодья поддерживается посредством лодок. Лодки их до невероятности легки и сидят в воде крайне неустойчиво, готовые каждую минуту захлебнуться; остяк в такой посудине пускается в путешествие даже в волнение и какими то судьбами остается цел. Готовимся пристать к остяцкому местечку «Светлый Проток», где рассчитываем запастись рыбой, которую остяки меняют на хлеб и тряпки.

31 мая.

Свисток разбудил меня в восемь часов. Подъезжаем к пристани «Мерикульский Яр». Я поспешно встал, умылся и вышел на палубу. Наволочно, но тепло. «Светлый Проток» проехали в три часа утра, не останавливаясь. Я и Кичи вышли на берег. Остяки явились с предложением рыбы. Оказались только караси и окуни. Соленая рыба — дрянь. Караси, хотя и крупны, но не жёлты. Дешевле, чем на прежних станциях. Имея запас их и рыбные пристани впереди, я не купил рыбы. Уток купил четыре штуки, по 5 коп., и у солдатика перекупил четыре за 35 коп. — Остяки — жалкие, оборванные люди, черноволосые, с широким лицом, выдающимися скулами, коротким, поднятым кверху носом, широким на конце, с узкими, вдавленными глазами, длинноволосые, грязные, одетые в разношерстное тряпье — от бересты до европейского драного пиджака включительно. Зовут всех Васьками и Андреями. При зове: «Васька!» все поворачивают головы. Мужчины некоторые сносно говорят и понимают порусски. С дамами приходится объясняться больше мимикой. На своих утлых лодках они проделывают положительно чудеса. Перед тем, как нам подойти к пристани, два остяка погнались за баржей в лодке с рыбою против течения, нагнали баржу и втащили свою лодку в нашу кормовую лодку и таким образом дошли до Яра. — На память купил берестяных бураков, остяцкого произведения, сшитых нитками и с выскобленными украшениями — рисунками на внешней стороне туяса и на внутренней строне березовой коры. Два туяса (небольшие) — 9 коп. — Обед — суп из мяса с клецками и жареные караси. — Погода — прекрасная. — Винтят на палубе беспощадно. — Проболтали до 12 часов с Дейчем и Марией Николаевной. Объяснение Дейча со мной и Мар. Ник. Он сообщил мне о прощаньи его с Ан. Вас.

1 июня.

Погода чудная. Обь — прелестна. Тишь и даже жарко. Берега в зелени. Воздух чистый, не надышешься. — Мясо испортилось; принуждены были его выкинуть. Волька заболел; предполагают – от вчерашней котлеты. Жар с ним. Доктор чув ствует себя тоже скверно, хотя мяса и не ел. Думает, что болотная лихорадка. Избави Бог! С Васильевым вышло недоразумение по поводу его требования об освидетельствовании мяса. Калюжная вновь мается зубами. — Обед был — уха из карасей и жареные утки, девять штук. — Жарко так, что сидеть на палубе тяжело... Часа в три пристали к Нарыму. Я сошел на берег, купил двести яиц за 1 р., ведро молока за 30 коп. и стерлядей крупных четыре десятка по 30 коп. за десяток. Вафли; хлеб хотя и не дешев, но, сравнительно, и не дорог: фунт хорошо выпеченного простого русского хлеба пять коп. — Нарым лежит на правом берегу Оби; в этом месте Обь страшно широка и усеяна островами. Город расположен на самом берегу, в равнине, с лугом на реку. Видны две церкви и несколько десятков деревянных, крытых тесом, домов. Виднеется большой каменный белый дом, двухъэтажный, — вероятно, острог или присутственное место. Вообще же местность и окрестности веселенькие. Красавица Обь всё красит. На самом берегу тянется ряд домов, залитых водою. — Софья Львовна выходила на берег, купила орехов и конфект «со счастьем». На ярлыке одной конфекты я прочел: «Великий мыслитель Ньютон в рассеянности доходил до того, что однажды между прочим схватил указательный палец сидевшей около него дамы и хотел вычистить им свою трубку». — С Васильевым объяснился по поводу недоразумения с мясом. «Тыменное» проехали в два часа утра; остановились только для того, чтобы взять пассажиров. — Места и берега

поистине благодатные. На ужин варили уху из стерлядей, — превосходная! Затем — кофе с молоком. Вечером винтили, а затем до часу пробеседовали я, Дейч и М. Ник. Она была очень весела и подтрунивала на наш счет. Трагикомедия, достойная пера Шекспира, допускает новое осложнение. — Расспросы у Чуйко и его оригинальные ответы относительно пьянства людей в ссылке. Публика винтила до 2 часов.

2 июня.

Всю ночь промучился, да и не я один. Комары появились в исключительном количестве. Заели. Около 6-ти часов утра свисток заставил меня быстро встать и одеться. Пристали к «Колпашеву»; пристани нет, пароход остановился близ берега на полчаса. Торговок скопилась туча, но их не пустили на баржу солдаты, несмотря на требование арестантов, особенно семейных, нуждающихся в молоке и яйцах для детей. Это крупное свинство; о нем должно быть поставлено в известность кому следует. Покупая сами, старшие и солдаты потом перепродают арестантам и, конечно, с большой выгодой для себя. Офицер вечно спит. Пойти куда или удовлетворить неотложным требованиям артели очень трудно: «начальник — спит!», слышится постоянный ответ. — Выйдя утром на палубу, встретил тех же комаров, только в миллион раз больше и злее. Василий (бродяга) принес было головешку, чтобы их выкурить, но кончилось тем, что выгнать их — не выгнал, а засевших в углы выпугнул, отчего их появилось еще больше. Когда то кончится эта казнь египетская! — Погода сырая, с дождем.

Обедали: уха из стерлядей и разварная стерлядь, но к последней соус поваром по ошибке был сделан на говяжьем сале с душком, вместо масла. Невежливый вопрос Присецкой: «вы, конечно, не

из расчета это сделали?» Я едва удержался от соответствующего ответа. — Погода наволочная, но не холодная. Тихо. Оба берега покрыты чудной зеленью. Беспрерывные острова значительной величины. К ужину делали вареники. «Колпашево» — с рубленой деревянной церковью на возвышении, недалеко от берега. Виден порядочный дом кулака крестьянина. Подходили к барже уголовные ссыльные, поселенные здесь; хвалили здешние места. Шутили с арестантами. Некоторые из поселенцев живут здесь лет двадцать, основали свое хозяйство. По множеству продаваемого молока можно заключить о хорошем скотоводстве. — Винтят напропалую. — Около 8-ми часов остановились на пристани «Жуково», — единственная пристань на левом берегу, близ деревни того же имени. — Сошли с баржи с Софьей Львовной. Я купил три утки за 20 коп., одно ведро картошки за 12 коп., масла чухонского три комка за 30 коп. — На пароходе, как оказалось, следует баронесса Корф, жена амурского генерал-губернатора. Присылала справиться у офицера о моей фамилии. Тут же ехала с Армфельдт Комаровская с нами из самой Тюмени. Она разговорилась с Софьей Львовной, и прыгая, бегом, вместе с нею прибежала к офицеру, прося допустить ее с нами на свидание. Разрешили. Едет она на Кару, как невеста Стеблина-Каменского, который должен в августе выйти с Кары на поселение. Сообщала, что Войнаральский и Ковалик в Якутке, в верхоянском округе, в 60-ти верстах друг от друга. Зданович в Верхоленске. Говорит, что несколько раз порывалась подойти ко мне, но боялась моего строгого вида. Барынька общительная. Хотела притти в Томске на свидание со мною. Едет из черниговской губернии, где прожила безвыездно полтора года, вернувшись из ссылки (в Таре провела четыре года). На Кару думает поспеть через месяц — По отходе

сидели на палубе, пили и ели. Пытались петь, но неудачно. Ночь — винтили. — Белье принято из стирки; заплатили 3 р. 25 к. и три куска мыла. Пишу на рассвете.

3 июня.

Часов в десять подошли к Томску; пристань верстах в семи от города. Томь — река значительная и отличается замечательно чистой водой, цвет зеленоватый. Всё утро прошло в сборах, упаковке вещей и хлопотах. Так как арестантов уголовных много и их для сдачи увели на берег в особый двор, то палуба вся предоставлена была к нашим услугам. Явилась Марья Никол. Присецкая, приехала из Семипалатинска. Ее впустили. Затем пришел Шульц с Натальей Иванов. Барановой, Гортынская, Сергей Жебунев и жена Владимира Жебунева, Марья Александровна. Радость неописуемая. После пришел Гамкрелидзе. Расцеловались. Он три дня, как приехал из Верхоленска и уже поступил фельдшером на пристань, где доктором Чехов — ссыльный. Гортынская едет в Россию, добровольно была с мужем в Минусинске, где муж, как техник, получает до 3.000 р. жалования. Перелешина тоже была у знакомых в Минусинске. Осташкин с женой и сыном, Литвинов, больной, в шушенской волости. Клеменс женился на сибирячке, ничего не представляющей из себя, научно работает; изучил бурятский язык, составляет заметки о бурятах, записывает предания, песни и обычаи, открыл прииска, за что получил 150 р. вознаграждения и 1% с дохода. Живут там не совсем ладно. Григорий Петрович Андреев занимается ботаникой, собрал целую коллекцию, которая обратила внимание ученого общества. Жебунева едет тоже в Россию из Балаганска, где живет и Сажин (женат на Евгении Фигнер). Смецкая с Шиманским недавно уехала

в Россию «на поруки матери». — Только часа в четыре мы пошли в Томск с веселым конвоем и одним офицером. Дорога до Томска — полушоссе — идет лугом, вдали виднеется на горе и у ее подножья город, окруженный лесами и дачами. Путешествие веселое. Встретили Перелешина и Соковнина. Вернулись, чтоб привезти в тюрьму закуски. Перелешина ездила повидаться с сестрой своей, женой ссыльного Мартынова. Любовь Ивановна и сестра ее Александра здесь. Первая вышла за Ан. Сердюкова, вторая за Мо́роз. Во время нашего пребывания арестованными сидели Кузнецов и Булгаков и под домашним арестом, по причине беременности, — Александра Ив. Мо́роз (Корнилова). — По приходе в замок разместились в камере № 8 — огромной и просторной. Возник спор из за запирания. Смотритель оказался круглый дурак, глупый формалист, не знающий, что болтает, и только потому не раздражает, что слишком глуп. Волька очень болен.

4 июня.

Встали не рано. День хороший. Кормовых не выдают, а отпускают натурою: привилегированным по фунту мяса и другим по полфунту. Щи на обед были прелестные; мясо осталось лишнее. Получено на мое имя письмо Литвинова. — День ненастный. — Присецкая, сестра, пробыла у нас до поверки.

В Томске было не мало всевозможных недоразумений... С переводом Уварова, наконец, женщин перевели в другую половину. Запирать стали только наружную дверь. Гуляли до позднего времени. Свидания по очереди в конторе. Советник Попеляев. Хотели разделить на две партии — в восемь и шесть человек. Телеграфировали в Главное тюрёмное управление. Разрешили итти в одной партии. Телеграмма стоила 9 р. 40 к. Недоразуме-

ние по поводу заковки Спандони, бритья Васильева и подвод; новая телеграмма Винокурову и благополучное разрешение. Свидетельство врача в Томске всех нас и Спандони на счет заковки. Тюремный врач Оржешко, брат(?) писательницы Оржешко. Тюремные хозяйственные порядки и эконом. Препирательства из-за белого хлеба, который мы требовали заменить... Зимнее и парное мясо. Гениальная мысль М. Ник. и хохот по этому поводу. Только через день хватились, что вещей упакованных у нас нет. Послали на пристань, но при приеме не оказалось сундука Дашкевича. Заявление по этому поводу и грубый ответ конвойного офицера. Жалоба губернатору. Оживление публики по поводу Ромео и Джульеты. Приемка Гудимом и самовары.

10 июня.

Утром, без четверти в десять, вышли из Томска. Под вещи заняли три подводы и четыре под нас. Некоторые из вещей перепаковывали. В Томске все время перепадали дожди с грозами. Уголовные в сараях, обтянутых парусиной. Прощанье. Выдача Мар. Никол. 50 р. за телеграммы, Винокурову 3 р. 75 к. При отправке погода хорошая. Трава и зелень. Вид на Томск хорош... Привал близ часовни в девяти верстах от Томска... В шесть часов прибыли в Семилурное... Обморок с Вар. Васил. Не запирали; неудобство одного общего сортира. Бутовская живет в этом селе, психически нездорова. — Масло, молоко, шаньги и яйца дешевы. Холод ночью и утром — ужасные.

11 июня.

Туман. Семилурное стоит в овраге и окружено прекрасными небольшими возвышениями, поросшими хвойным и лиственным лесом. Почти все идут пешком. Веселый путь — 14 верст. Рано пришли

в Халдеево. Поместились отдельно, в сносном помещении; нары высокие и с лестницами. Я и Дейч — внизу. Самовары пригодились. Здесь нет кубов, а ставят самовары. Торговки на дворе целый день. Масло чухонское 20 коп. фунт, яйца десяток 10 коп., молоко 5 коп. крынка, шаньга 5 коп. — Легли рано. Рассказ бродяги про Успенского, жену, и Орфанова. Получены кормовые деньги от уголовного старосты. — Только когда легли, нас заперли.

12 июня.

Дневка. Встали поздно. Уголовный староста пришел на поверку с фельдфебелем. Мы возмутились. Объяснение со старостой, фельдфебелем и отказ брать деньги от уголовного старосты. Распри меж собою. Натянутые отношения с уголовным старостой. Я не принял деньги и настоял на своем. Расписался. Купил мяса 5 фунтов, по 5 коп. Рубинок дежурный — варил суп и жарил картошку. В Халдееве близ этапного двора — гимнастика. Дворов — три. Картофель — 20 коп. ведро. Баранины свежей не продают... После обеда шел дождь. Легли рано.

13 июня.

Вышли из Халдеева в половине седьмого. Сначала вещи поехали вперед, но от оврага их повезли в объезд, ибо подъём так крут, что простые телеги едва взобрались наверх. Зелено; виды кругом прекрасные; береза и хвойные деревья преобладают. Привал за селом Крестининым, но дежурный Снегирев положил корзину с съестными припасами на подводу с вещами и потому пришлось выдать по пятаку. Торговки обыграны в «узелок»; хохот. — По дороге то и дело попадаются бродяги. — Офицер из Халдеева — капитан Чернов, старая развалина, вечно ноющий надо всем, старающийся заговорить

со всяким встречным, с бабами, бродягами, хихикающий. — Приехали в Турунтаево. Сортиры страшно безобразны и грязны. Положение женщин при таких условиях — крайне неприятное. Нас поместили в камере с общими сенями. Запор снаружи. Параши и разговоры по этому поводу с капитаном. Разговор о раннем выходе и приказание офицера поставить нам самовар в три часа. Гуляли долго, желающие и после поверки, для которых конвой отпирал двери.

14 июня.

Самовар принесли в третьем часу и потому рано встали. Выехали в половине четвертого. Здесь же накануне мы наняли двух бродяг до Красноярска ставить самовары и укладывать вещи. Ехали без особых приключений, читали с Дейчем Rocambole en Prison. 22 версты проехали весело. В селе Малаловом, за рекой, делали привал; выдал по 5 коп. на брата. Река Кия. На ней незадолго до прихода был перевоз; теперь же готов мост. Река с Кутулук, даже шире. — Ишимское — огромное и богатое село, с двухъэтажными домами прекрасной постройки и квартирами; перед селом перевоз через реку Яю. — Арестанты купались. Мы обогнали партию и пришли первыми. Помещение нам отвели удобное, из двух комнат; ход сзади. Сортир — отдельный. Всем арестантам поместиться негде, и потому администрация уголовным отвела на ночь баню. Конвой — хороший, а офицер — грубый человек. В наше помещение поместили днем одного, а на ночь трех солдат из томского конвоя. — Масло чухонское 20 коп. фунт; хлеб белый, прекрасно выпеченный — 5 коп. фунт; молоко — 5 коп. горшок; сметана, творог — дешевы; капуста квашенная в вилках, по одной коп. за штуку, — хорошая; картофель 10 коп. ведро. — Купил говядины 15

фунтов, по 6½ коп. за фунт, чтобы сварить на утро щи с капустой. Вечером после поверки гуляли. Недурно пели. — Днем выспались и винтили; купили углей для самовара. Ночью перед запором пришел зачем то офицер и, наговорив глупостей, удрал.

15 июня.

Дневка. Встали в семь часов. Утро провел в кухне с Дашкевич. Варили щи и делали котлеты. Обед вкусный, но выпрело и жижи было мало. Вывод тот, что от Томска не следует брать большой московской посуды, а нужно кастрюлю и таган. — Возились до устали. Всё собирал у торговок — и чугунок и сковороду... Беседы после обеда с арестантами. Встретили бродягу, переправляющегося в Россию, который был старостой во время голодовки Ковальской и других в Иркутске. Он говорил, что этот протест навел даже и на них «панику». Ковальскую сняли с веревки и силком заставили есть. Голодали 16 дней. Бродяга лестно отзывался о Неустроеве и Легком. Умерли с честью. — На ночь солдат внутри не ставили. — Белье вымыто; уплачено 1 р. 26 к.

16 июня.

Вышли в шесть часов. По поводу такого позднего времени, уголовные подняли целый скандал; тщетно пытались доказать им всю нелепость их требований доктор, Малёванный и Дейч. Все это время погода была прекрасная. Проехали почти всю дорогу, не слезая; только после привала близ села шел я и Васильев с офицером. Разговорились. О политике, о Дейче и т. д. Беседуя, скоро пришли в Кольгонское (22 версты). Помещение то же, что и в прежних полустанках, т. е. через коридор с уголовными. Заказали две курицы с супом за 80 коп.;

хороши. Офицер показывал свою больную лошадь — практика доктору. Его беседы с доктором. Боязнь за тюки; трое солдат, после объяснения с офицером, от нас выведены. — В виду нездоровья Спандони и Калюжной, просили выйти часов в шесть. Староста объявил всем при поверке о времени выхода.

17 июня.

Утром нас разбудило сердитое хлопанье дверьми и шум на дворе. Это уголовные укладывали с трех часов свои вещи на подводы. Возчики, заинтересованные в ранней отправке, въехали во двор, а арестанты считают это началом отправки. Стали дерзко, вызывающе кричать на наш счет, стучать в угол нашей камеры, рассыпая площадную брань. Малёванного, вышедшего в четыре часа, встретили бранью; не щадили и женщин. На Чуйко один мерзавец даже замахнулся, требуя немедленно вытащить вещи и собраться. Нахальство уголовных дошло до того, что они стали залезать в камеру, где еще спали женщины. Офицер знал об этом скандале и все-таки ничего для его устранения не делал... Мы вышли в пять часов. Спандони, — эгоистически раздражительный, — был предметом дебатов моих с Дейчем. Этот разгорячился до крайности... — Пришли в Почитанский этап часов в одиннадцать. Помещение отдельное, с отдельным двором и сортиром. В нашем помещении расположились было «возвратные» семейные арестанты; их выпроводили, вымыли нары за 20 коп. — Пошел сильный дождь. — Офицер на вид порядочный. На завтра ждут «дворян» из Томска. Где их поместить? — Провизия удивительно дешева, особенно молоко, творог; мясо 5 коп. сырое. За варку, жарение — не берут. — По приходе решили позвать офицера и спросить инструкции о порядке следования этапа. — Дождь

до поздней ночи шел проливной; грязь. — Солдаты порядочные и вежливые. Волнение стало утихать. Конвойных не ставили, и заперли часов в десять, потому что, по случаю грязи, никто не гулял.

18 июня.

Дневка. — На утро приехали «дворяне»; их поместили в команде. Рассказали, что в Тюмени остались, вероятно, по болезни Сербиновой, Мельникова, сама Сербинова и Свидерский, судя по описанию. С «березовцами» и «сургутцами» ехали на одном пароходе; рассказывают, что там у них вышла история: наши сидели в больничной камере, попросились выпустить их гулять. Офицер отказывал, не являясь сам к ним. Они звали его — он снова и снова не являлся. Тогда они будто бы табуретами проломили переборку; при усмирении дело доходило было до оружия. Офицер будто бы хотел составить акт на одного Вейнберга, но наши все, чтобы не подвергать его одного ответственности, решились будто бы отсидеть по часу в карцере(?!). Кроме того, они будто бы забыли на палубе место с сахаром, каковое и пришло в Томск (не Дашкевича ли вещи?). — По объяснению с фельдфебелем, оказалось: выходить партия должна не позже 8 часов утра и приходить не позже 9-ти часов вечера летом и 6-ти часов — зимой. — Мы объяснились с офицером, указав ему на столкновение с уголовными из за времени выхода и на бездействие офицера. Просили нас впредь гарантировать от подобных историй, выходить же не раньше 5-ти часов. Он всё это обещал. — Варили суп и жарили мясо; мясо прекрасное, по 5 коп. фунт... — Рассуждали по поводу резкости выражений, употребляемых нами в спорах; решили воздерживаться. — Винтили и гуляли до позднего времени.

19 июня.

Вышли в 5-ть часов. Грязь страшная. Большею частью ехали. Погода хорошая; 27 верст прошли весело. По приходе в Бирикульскую нас поместили, как и в Семилурной, в отдельном флигеле. Этапный двор за селом, за чертой околицы, с левой стороны. Этот станок самый бедный; торговок на дворе было мало; всё значительно хуже и дороже, а многого и совсем достать нельзя, как то — масла, сметаны и творога. — Проехал воинский начальник томский — ехал на ревизию; к нам не входил. Жаль — в виду ниже описанного. — Перед вечером уголовный староста спросил меня, во сколько часов мы пойдем. Я сказал — в пять. Так он и объявил на поверке. Но приходит офицер и объявляет, что пойдем в пятом часу. Я спросил — что значит «в пятом»? Говорит — в четыре. Перед тем решили не выходить раньше 5-ти часов на всё время; только Снегирев и Чемоданова, в виду постоянных столкновений и неприятностей, настаивали предоставить дело воле провидения. В виду того, что Спандони и Калюжная доходят до истерики от невозможности выспаться, решили сопротивляться выходу ранее 5-ти часов. — Эти дебаты, подслушанные почитанским конвоем и самим офицером, взбесили последнего, и, увидя нас, он грубо, дерзко заявил, что если так, если мы набавляем час, то он теперь уменьшит время выхода на час. На вежливую просьбу Малёванного — не волноваться и не говорить ненужных дерзостей, офицер закричал: «не разговаривать!», обещая завтра поднять нас в два часа прикладами. Это привело нас в горячечное волнение; мы ушли, но рассуждать долго не рассуждали, предоставив развязку случаю. Решили одно — не выходить раньше 5-ти. — Утром офицер, разбудив во 2-м часу уголовных, разбудил и нас. Я и многие другие не встали. Он посылал несколько раз будить.

Только проснувшись в три часа, я услышал грубый голос офицера, бывшего с несколькими солдатами без ружей. Лежали еще Чемоданова, Рубинок, Корниенко и Иордан. Офицер кричал и приказывал подниматься и выходить. Никто из лежавших не поднимался. Кричал, что он позовет сейчас конвой и силою поднимет, закует всех в наручные. Мы не трогались. Тогда он закричал свой конвой с ружьями. В промежуток между этим приказанием и приходом конвоя, Спандони, предполагая, что конвой решится на насилие, стал упрашивать меня и других лежавших, ради него, как инициатора, встать и тем сложить с него хоть долю нравственной ответственности. Мне стало жаль его, и потому я стал нехотя и медленно одеваться. Вошел конвой, и офицер, продолжая кричать дерзости, приказывает конвою поднимать лежащих. Конвойные натянуто, машинально выкрикивают: «вставайте»! Но не трогаются с места. Офицер приказывает поднимать; один солдат начинает легонько дергать за одеяло Иордана; тот не встает и продолжает лежать. Рубинок лежит молча и неподвижно. Картина! Солдаты больше не трогаются. Во мне происходит буря: борется зверь с человеком. Я чувствую: один только момент, — и я не выдержу, вскочив, расшибу этого дерзкого нахала. К счастью, он стоял всё время далеко от меня, у двери, и я, стиснув зубы и ухватившись конвульсивно за столик, старался по крайней мере не видеть его. Приходит унтер и заявляет, что давно выведенная партия уголовных ждет и волнуется, в виду долгой задержки. Офицер взял конвой от нас и ушел. Через некоторое время приходит уже более мягким и заявляет, что он пустил партию уголовных вперед, но что дает время нам собраться и потом догнать партию. Давно бы так! Когда партия ушла и уступка очевидно сделана, мы встали все, кроме Рубинка,

который заявил, что раньше 5-ти часов не встанет. Так как делать было нечего и уступка вышла полная, мы хотели через некоторое время ехать, но Рубинок отказался и выслушивать нас, ребячески ожидая 5-ти часов и продолжая лежать. Ровно в 5-ть мы выступили и пошли быстро пешком, чередуясь отдыхом на подводах с конвойными. Офицер ехал в стороне, как оплеванный. — Разговор вели о том, чтобы по приходе в Подъельничное заставить офицера составить акт, от которого он отказался на месте, и написать на него жалобу. — На привале за селом догнали партию, которая, кроме того, задержана была припадком, которым был постижен один из уголовных. Наскоро заварили чай из принесенного женщиной в самоваре кипятка и на ходу уже пили. — Виды все те же; лес... — Ямщик из евреев, обрусевший и любознательный, слушал с увлечением чтение стихов Некрасова... — Так прибыли мы в Подъельничное — 28 верст. Поместили здесь в первый раз в самом корпусе, в отделении с двумя комнатами; махорка и скверный воздух. Мясо, по случаю поста, как говорят, — дорого, да почти свежего и нет; фунт 8—9 коп. Яйца, молоко, сметана, масло — попрежнему дешевы, хлеб пшеничный 5 коп. шаньга. Услужливый ссыльный достает всё — и угли, и провизию. Старший — порядочный и внимательный. После поверки мы гуляли во дворе. Параши разместили две. — Винтили. О заявлении по начальству отложили до завтра.

21 июня.

Дневка. Встали поздно. Купил 15 фунтов баранины по 8 коп. и две курицы (80 коп.). Целый день рассуждали относительно образа действия в дальнейшем пути. Большинство пришло к решению написать заявление в Главное тюремное управление об

отделении от уголовных, с выяснением мотивов. — Среди торговцев нашел поставщика из ссыльных. — Офицер заявил полное согласие выходить, когда нам угодно. Мы решили выйти в 5-ть. — На ужин — щи. — Вечером и ночью — проливной дождь.

22 июня.

Вышли в 5-ть часов. Прошли довольно весело. К Мариинску лес постепенно уменьшается и переходит в мелкий кустарник-березняк. Город расположен в равнине, болотной; с востока его обнимают возвышенности. Весь город утонул в кустах и деревьях. Похож скорее на большую деревню. — Перед городом встретили нас Обедлинский Сигизмунд и Овсянников. Получили от них часы. — Разместились в этапном здании. Оно — на краю города, с правой стороны. Расположились в двух комнатах. Мы женщин запирали сами. Накупили в городе мелочей рублей на 20-ть. Булки белые, хлебы французские. — Приезжали стряпчий и помощник исправника для приема писем. — Недавно проехал граф Игнатьев. — Утром выехали вперед. В самом городе река Кия, довольно порядочная, с Самарку. Здесь перевоз. Провожал квартальный. Обедлинский и Овсянников переехали с нами. Пришел Полугин и провожал далеко. Их всех 6 человек в Мариинске: Николаев (рабочий) и Лашин спились с кругу. Отношение к ссыльным трусливое. Рассказывал про бессовестную деятельность писателя Наумова, который здесь служит окружным членом крестьянского присутствия, про его взяточничество и вообще про «доходные» порядки в Сибири. — Пособие ссыльные получают в размере 6 руб. в месяц. Жизнь не особенно дорога: квартира с обедом — 10 руб. в месяц. На привале близ дороги поели и расстались. — В Суслове заехали в лавочку и напились кислых щей, по 10 коп. за бутулку. —

В Суслове офицер очень любезный, отвел отдельное помещение. Дешевизна мяса, хлеба, молока и яиц — удивительная. Я заказал обед. Купил мяса 15-ть фунтов, по 5 коп., сварили и жарили. Всё это обошлось в 75 коп. — Вечером долго не спали, хотя гулять, по случаю грязи, нельзя было. Читал газеты.

24 июня.

Споры, грустные и неприятные, которых я никогда не забуду. — Купил 21 фунт мяса говяжьего. Варили пельмени, жарили: обед превосходный. Помещение наше выходило на улицу, близ солдатской казармы. Не запирали.

25 июня.

Выехали в 6-ть часов. Партию отпустили раньше, в 5-ть часов, сами с конвойными догнали ее на привале за селом; не захватили с собой ни куска хлеба. — Попались на пути два больших оврага. — Приехали несколько раньше партии. Тяреньское — длинное село; мост через речку с мельницей. Этапное здание у подножия круглой возвышенности, на холмике, очень красивое. Поместились в общем коридоре с уголовными. Заказали обед, а сами пошли с офицером и под конвоем купаться — чудно! Прогуляли до поздна. Погода прекрасная.

26 июня.

Вышли в 5-ть часов, уголовные в 4 часа. Ехали на 6-ти подводах, из коих две были запряжены парой. Клячи — не лошади; дорога неровная, постоянные овраги, глубокие долины и котловины. Виды — чудные. — Догнали партию в «Промежуточной», где встретили нас две торговки. — Жара невыносимая; мошки. Заранее нас предупреждали,

что офицер итатский — зверь, не человек. — Прибыли немного раньше партии. Село большое и богатое, с каменными лавками. Расположение этапа, —как и раньше, с отдельным двориком и в две комнаты. Встретили «обратных», среди коих выступал закованный в наручных Агапов, идущий из Баргузина в тобольскую губернию, этапом, с женой, местной крестьянкой. Был на Каре. По приходе его сюда, он требовал отдельной комнаты, по праву; фельдфебель выбросил его вещи и обругал жену гадкой женщиной. Офицер, придя, наговорил дерзостей, за что получил дерзости от жены Агапова; последний вступился за жену. Офицер приказал заковать его в наручные. Перерыл его вещи, отобрал кастрюли, сковороду и проч. и все распродал, говоря, что этого не полагается везти с собою. Вышел Агапов из Баргузина в октябре 1884 года, зимовал в В. Удинске, в январе 1885 года тронулись дальше, всё можно было везти, и вот один самодур-офицер — и всего имущества сразу лишился. — Движение обратное длиннее и мучительнее, чем вперед. Сидели по недели и по две на этапах, в городках — по три недели. Произвол — удивительный. Здесь, например, офицер, наиздевавшись над Агаповым, призвал старшого, старосту и понятых, составил акт об оскорблении его, офицера, и продал вещи Агапова этим же понятым!.. По приходе, узнав о деле Агаповых, мы возмутились, и я отправился к офицеру объясняться. Я потребовал немедленно расковать Агапова; он тотчас же был раскован. Агапов — по московскому процессу, сидели мы вместе. По дороге он встречал партии прошлого года; встретил и Петра Алексеева, ехавшего с Кары в якутскую область с жандармами. В Баргузине Чернявский, офицер-поляк, Шадрин (дрянь), Баламез, Фурсенко, Расиков, Морейнис (он), Мушкин и др. Жить в селах не велят.

27 июня.

Встали поздно, в семь часов. Заказали обед, варили баранину сами. Идет небольшой дождь. Утром возился долго: покупали кружки (по 17-ти коп.). — Рассказывают, что Кудрявцев, сусловский поручик, перед нашим приходом, в пьяном виде оторвал ухо старосте предыдущей партии уголовных.

28 июня.

Выехали в три часа, по просьбе арестантов. Простились с Агаповым. Боготольское — громадное село при реке Чулыме. Здесь был каторжный завод винокуренный. Строение, хотя и деревянное, но прекрасное — впору уездному городу. Этап справа, через несколько домов, с приезда. — Поместились в отдельной, как в Семилурной... — Вечером — холодно. — Молоко, яйца и пр. очень дешевы.

29 июня.

Встали в два часа, к трем были на подводах, но за туманом офицер задурил и проморил всю партию до четырех часов. Перезябли все. — На привале никого из торговок не было, ибо привал не при селе. Одна выехала, но ее обыграли «в узелки». Привезла молоко, чтобы выручить деньги на похороны мальчика...; я ей дал 45 коп. — Прибыли в 12 часов в «Красную Речку». Чулым — река значительная; по одну сторону — горная цепь. Комаров и мошек, по причине холодной погоды, было мало; зато от Итатского до Боготольского была такая сила мошек, что они заедали не только людей, но и лошадей. Лошади падали в муках. Если бы не сетки — пропали бы! — На привале хотели было пить чай, купили два чайника кипятку и две крынки молока у мужика, за селом, но выходил не чай, а кисель из мошек. Лица арестантов пораспухли. — Помещение в «Красной Речке» отдельное, но убор-

ная прямо перед окнами, у входа... Петровки; все «подгулявши». — Мясо за субботним временем не достали, ибо мясники здесь — евреи. Легли рано.

30 июня.

Дневка. Встали поздно. Заказали кур сварить, мяса опять не достали. Село большое и хорошее, но кроме евреев никто не колол скотину. Зато хлеб хороший, даже сдобные крендельки были. Одна курица пересолена была, из-за чего Снегирев поссорился со мной. Спор из-за выхода со Спандони. — За двух кур заплатил 90 коп.; мясо по 5 коп. за фунт, хотя и не достали; пуд пшеничной муки — 1 р. 10 к. — 1 р. 20 к.; ржаная от 65 до 80 коп. — К вечеру шел дождь.

1 июля.

Накануне Спандони заявил, что несмотря на то, что все мы решили выйти часа в четыре, он не пойдет раньше пяти. Все были нравственно разбиты его эгоистическим упрямством. Утром были готовы в 4, но принуждены были стоять... над лежавшими тремя товарищами — Спандони, Рубинком и Корниенко. Они не спали и подсмеивались надо всеми. Уголовные и фельдфебеля упрашивали поскорее выйти. Они не обращали на это никакого внимания. Вышли в 5-ть. Время холодное, ночь и день шел дождь. Бурка спасала меня. — Ближе к Ачинску лес перешел в мелкий кустарник, и, наконец, показался сам город. Вид его напоминает Казань с Волги: такие же высоты. У самого города река Чулым, через которую плашкоутный перевоз. Переехали быстро; на берегу встретили ссыльного Гловацкого, рабочего, столяра из Киева (по делу Бычкова). Живет уже год в Ачинске с женою; больше здесь никого нет. Цитович выслана сюда на родину;

ей кончился срок. Пособие — 8 руб. в месяц. Город грязный и плохонький. Прошли соборной площадью, где расположены магазины и ряды — нечто вроде гостиного двора. Этапный двор — на горе, близ кладбищенского сада, где похоронена Никитина. Тюрьма — рядом. Нас впустили раньше и отвели нам скверное помещение, за неимением лучшего. Общий коридор с уголовными, но мы ходы заложили вещами и коридор обратили в другую комнату, где поставили стол. Вполне изолироваться от уголовных было нельзя, так как в коридоре помещался куб. Встретил нас помощник исправника, не знающий условий содержания политических и, наконец, сам исправник, любезный человек, со стряпчим. Принял по спискам ачинский конвойный офицер. — Положение наше было невыносимо, и потому мы поставили прямой вопрос: подчиняется ли меньшинство большинству? Четверо настаивали на своем, продолжая глумиться, и потому мы решились разделиться. Просили оставить нас, девятерых, до другой партии; нам отказали. Разрыв совершился.

2 июля.

Дневка. День прошел в волнении. Чувствовалось нехорошо. — Малёв. получил письмо. Кое-кто отправил письма. Ходили в баню; скверная, но жаркая. Легли поздно и встали рано.

3 июля.

Партия отправилась раньше. Оказалось, что от Ачинска порядок отправки другой. До Ачинска подводы поставляли под нас подрядчики, общие и для уголовных. Отсюда же — под политических дают обычные сельские подводы, как и для «дворян». — Подали семь подвод — не уложили вещей и ждали восьмую. Ехали на жалких парах, рысью, с конвойными, коих было восемь человек. Дорога неров-

ная, с мошками и комарами, при дожде; партию догнали перед Турунтаевкой (Покровское тож). Но в Покровском на площади, близ церкви, ждали, когда перепрягут лошадей и переложат вещи. Позади села Покровского, за рекой Улуень, впадающей в Чулым, — страшно крутой подъем: мы едва вылезли в гору. Дорога отвратительная. — Лес снова пошел густой и большой — настоящая тайга; места болотистые, хотя и высоко лежат. — Приехали в Чернореченскую часа в четыре. Этап, с прихода, на левой стороне. Устройство совсем другое: общий коридор, и в глубине его, с правой стороны, камеры, с расшатавшимися нарами по бокам. Коридор разделен дверью пополам, при чем уборная отходит в выходную часть, а потому приходится проходить ночью мимо наставленных параш, стучаться в дверь, чтобы попасть в уборную; неудобство страшное. — Вода скверная. Уголовные берут воду из колодезя, мы брали из «колигардии». — Путного хлеба нет. Молоко еще дешево. Мяса достать нельзя. — Легли поздно. Спандони просил выделить деньги.

4 июля.

Утром встали рано, но пили чай до пяти часов. Партия ушла; подводы подали только к шести. Ехали отдельно. По дороге обогнал офицер. Отдал телеграмму. — Лошади отвратительные. По дороге, тоже грязной и отвратительной, попались два оврага с двумя горами, Постой и Думка. Последняя гора, близ хорошего моста, едва не уложила наших лошадей. Дорога, очевидно, шла, возвышаясь. Едва дотащились к 12-ти часам в Козульскую, деревню с двумя оврагами. Этап старый и новый (строющийся 5-ый год!) в конце деревни, на горе, слева. Расположение, как и раньше, только слева, в двух маленьких камерах; холод страшный. Пациент доктора и delirium tremens. — К вечеру пошел дождь. Грязь

непролазная. — Хлеба и молока достали. Торговок на дворе... было много, говорят, благодаря только скверной погоде. В сенокос же с этого этапа уходили и голодные.

5 июля.

Дневка. Раздел денег и капризы Чемодановой. Я снова согласился быть старостой. Заказали у денщика суп из клецек и котлеты. Купил 19 фунтов мяса у артельщика, парное. Впервые, после долгого промежутка, сытно поели. Смотрели на медвеженка. — Майданщики. Майдан продается от Томска до Красноярска, до Н. Удинска и Иркутска. Деньги, выручаемые от этого, идут на наем по дорогам бань, как в Ачинске, плату подати палачам, парашникам и за прочие артельные труды. Карт и других принадлежностей майдана другим иметь в частной собственности не дозволяется. При игре в карты майданщик получает известный процент с выигранного рубля. Обязательный кредит каждому до 30-ти коп. майданщик обязан дать; потом вычитается из кормовых. Проигравшихся в пух — за несколько дней кормовых, спустивших одежонку и проч., — называют «жиганами». Они часто идут голодные, распухшие от голода. При первой получке кормовых они снова проигрывают все до тла, и кормовые, и снова идут. Собранное по селам кой-какое подаяние, всё, что перепадает по дороге, — идет на «жиганов». Сверх того, в конце пути, майданщик делает им обед, который обходится ему от 3 до 5 руб. Условия бродяжной жизни таковы, что действительно нет возможности не бродяжить, раз уж начал бродить. Самое выгодное место кажется бродяге скучным, нудным. Бродягу тянет не только на родину, в Русь, но сама по себе его привлекает эта собачья жизнь, полная треволнений. При личных столкновениях в местах поселений у бродяги обыкновенно не оказывается никаких сдерживаю-

щих мотивов. — «Да что ты глумишься! Черт с тобой! Ломаешься еще надо мной!»... Украдет, убьет и уйдет... В дороге такой бродяга чувствует себя действительно свободным, вольным, — как зверь лесной. Никто бродяг не останавливает. Обычаем установилась обязанность помогать им едой и ночлегом.

6 июля.

Выехали без четверти в семь, после ухода партии, без офицера. Лошади попались сносные. У нас с Иорданом и Дейчем ямщиком старик ссыльный, поляк. Тотчас за селом начинается подъем очень крутой; дорога — неровная, поднимается кругами по отрогам Гремячихина хребта. Пихта, лиственница — настоящая тайга. Места удивительно живописны. По бокам дороги — болотисто, несмотря на высоту. Дорога скверная, хотя значительно лучше предыдущей. На пути у ямщика на подводе с вещами сломалось колесо. Принуждены были освободить одну подводу, на которой ехали сами; медленно дотащились до Большого Кемчуга. Здесь остановились на берегу реки того же названия. Поставили самовар; съели по котлете, в ожидании подвод. Погода чудесная, не жарко, но ведряно. Переправа через Кемчуг прямо по воде. Чуть не заливает водой вещи. За рекой сейчас же поднялись на страшную кручу, с которой вид удивительно хорош; все остановились и любовались им. — Дорога постоянно, через пологие долки, поднимается кручами; приходилось часто вставать и итти пешком. В некоторых местах по бокам дороги текли арыки. По обочьям — незрелая малина. Поселенцы жалуются на чалдонов, характеризуя их, как бессердечных эгоистов, эксплоататоров. Бесправие удивительное. Взятки заседателем берутся открыто, и дело завершается простым торгом. В Ибрюль

приехали в три часа. Село стоит в долине, у подножья... кручи. Строение плохое, село небольшое и бедное. Бабы жалуются, что коровы мало дают молока; из за мошек днем коровы укрываются на дворах и плохо кормятся. Торговок мало, хлеб не дороже прежнего; масло чухонское 30 коп. фунт; молоко — в той же цене; яйца 15 коп. десяток. Этап стоит с проезда на правой стороне, на болотине. Здание, как и другие, с общим коридором, но с двумя большими камерами для нас справа. Винтили и легли спать поздно.

7 июля.

Выехали часов в шесть без вещей: лошадей задержали и едва дождались четырех подвод под себя... Дорога хотя значительно ровнее, но тряска невозможная. По дороге обогнали нас какие то проезжие польки. — Приехали в Мало-Кемчугское часов в двенадцать. Село большое и богатое; торговок много. Заказал жареной телятины 5 фунтов по 10 коп. и суп из малосольной говядины по 7 коп. за фунт. Обед вышел прекрасный. Молока достаточно по 5 и 8 коп. за крынку; масло — 30 коп. фунт; хлеба можно достать всех сортов и недорого. — Офицер, повидимому, добродушный и предупредительный..., но большой в то же время формалист. Впервые осматривали кандалы; офицер дал ключ от отдельной уборной. Камера наша, узкая и тесная, выбелена и устлана ветками сосны, что значительно очищает воздух. Масло, редис..., кофе и булки.

8 июля[3]).

Накануне купались; вода страшно холодна.

---

[3]) Этим днем кончаются связные записи в дневнике. Далее следует ряд заметок без дат, адреса ссыльно-поселенцев, записи денежных расходов и т. д. — Ред.

Иордан и Чемоданова уморили всех со смеху своими препирательствами. — Обед — такой же. Чай с горячими лепешками. Выписал 20 руб. денег.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

M

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 25 кр. чеш.